

## Судьба империй Империй призрачных орлы...

В марксистской литературе принято считать империализм политическим продуктом зрелого капитализма, в который Европа вступила приблизительно с 80-х годов прошлого столетия. Экономические мотивы (борьба за рынки, сырье и помещение капиталов) действительно отмечают новейшую колониальную политику европейских Империй. Но экономика — лишь одна из многих сторон политической экспансии, которая стара, как мир. Здесь социология непосредственно продолжает биологию. Борьба за власть есть лишь политическое выражение всеобщей борьбы за существование. Можно было бы утверждать, как историко-социологический постулат, что каждое государство или даже каждое политическое образование (род, племя, орда) непрерывно раздвигает границы своей территории за счет соседей до тех пор, пока не встретит достаточно сильного сопротивления. В результате устанавливаются более или менее твердые границы, но всегда оспариваемые, всегда подвижные. Война в истории более постоянное явление, чем мир. Даже в периоды длительного мира нельзя забывать, что он лишь результат равновесия враждебных сил. Границы государства не статические формы, а силовые линии, где скрещиваются и уравниваются внутреннее и внешнее давления. Равновесие постоянно нарушается, и тогда происходит расширение, сжатие или гибель государства.

Вся история может быть рассматриваема (и даже преимущественно рассматривалась в узкополитической историографии) как смена процессов интеграции и дезинтеграции. Можно называть первый процесс ростом, развитием, объединением или же завоеванием, поработением, ассимиляцией; второй — упадком, разложением или освобождением, рождением новых наций, в зависимости от того, какая государственность или народность стоит в центре наших интересов. Галльские войны Цезаря принесли с собой смерть кельтской Галлии и рождение Галлии римской. Разложение Австро-Венгрии есть освобождение — Чехии, Польши и Югославии. Объективная же или сверхнациональная оценка историка колеблется. Рост государства означает расширение зоны мира, концентрацию сил и, следовательно, успехи материальной культуры. Но гибель малых или слабых народов, ими поглощенных, убивает, часто навеки, возможность расцвета иных культур, иногда многообещающих, быть может, качественно высших по сравнению с победоносным соперником. Эти гибнущие возможности скрыты от глаз историка, и потому наши оценки великих Империй или, точнее, факта их образования и гибели содержат так много личного или условного. В отличие от евразийцев мы признаем безусловным бедствием создание монгольской Империи Чингисхана и относительным бедствием торжество персидской монархии над эллинизмом. С нашей точки зрения, Империя Александра Великого и его наследница — Римская — создали огромные культурные ценности, хотя в случае Рима нельзя не сожалеть о многих нераспустившихся ростках малых латинизированных культур. Враги греческого гуманизма, которых так много в наше время, конечно, другого мнения. Борьба эллинизма и Востока еще продолжается в нашей современной культуре.

Когда экспансия государства переходит в ту стадию, которая позволяет говорить об Империи? На этот вопрос не так легко ответить. Во всяком случае, нельзя сказать, что Империя есть государство, вышедшее за национальные границы, потому что национальное государство (если связать национальность с языком) явление довольно редкое в истории. Может быть, правильное определение было бы: Империя — это экспансия за пределы длительно устойчивых границ, перерастание сложившегося, исторически оформленного организма.

Историки давно говорят о Египетской Империи для эпохи азиатских завоеваний Рамесидов, о Вавилонско-Ассирийской и Персидской Империях — в их расширении за пределы Междуречья и Ирана до берегов Средиземного моря. Рим превращается в Империю, когда выходит из границ Италии; европейские державы — когда приобретают обширные колониальные владения за океаном. Но завоевание или ассимиляция немцами западных славян или русскими славянами финнов не создавали Империи. Выход государства, даже непрерывно растущего, из его привычной геополитической сферы есть тот момент, когда количество переходит в качество: рождается не новая провинция, но Империя, с ее особым универсальным политическим самосознанием.

\* \* \*

Наши привычные понятия о государстве сложились в опыте XIX века, когда национальное государство из исключения превратилось в норму, в тип государства вообще. Современное государство-нация есть продукт скрещения двух первоначально враждебных сил: романтизма и французской революции. Романтизм, с его переоценкой всего иррационального в человеке и культуре, строил идею народа на подсознательных или полусознательных элементах его жизни, каковы язык, фольклор, языческая религия природы. Народ романтиков совпадал с языковой общиной. Французская революция сделала народ (конечно, другой, насквозь рассудочный народ) сувереном, единственным носителем государственной власти. Народы Европы, поработанные революционной Францией, в борьбе против нее прошли через ее школу. Их культурный, бытовой, религиозный национализм превратился в политический. Каждый народ (нация) имеет право на свою государственность, и только национальные государства оправданы. Такова была вера XIX века. И его внешнеполитическая история сводилась главным образом к революционно-военной перекройке европейской карты по национальным границам. Для одних (немцев, итальянцев) это было движение к единству, для других — к отделению, освобождению от наций-завоевательниц. Некоторые страницы этой истории достойны Плу-тарха. Нельзя без волнения читать о героях и мучениках освободительных движений в Италии, Польше, Ирландии. Счастливые, немцы и итальянцы, создали свои крепкие национальные государства уже в XIX веке. Даже более слабые, балканские народы, добились своей независимости, пользуясь слабостью Турции и поддержкой мощной России. Несчастливым пришлось ждать до первой мировой войны, которая принесла долго чаемое освобождение полякам, ирландцам, чехам и другим австрийским славянам.

Но задолго до того, как процесс национализации Европы завершился или, вернее, достиг своего возможного апогея, началась эра нового империализма. Конечно, и он не сводился к голой экономике. И в нем говорила воля к власти, пафос славы (Киплинг) или голос тщеславия. Но для великих европейских держав конца XIX века колониальная экспансия была хозяйственной необходимостью. Все растущая индустрия требовала заокеанского сырья (хлопок, каучук), изобретение двигателей внутреннего сгорания вызвало колоссальную потребность в нефти и борьбу за ее ограниченные естественные источники. Наконец, победоносный капитализм, по природе своей не способный удовлетворяться внутренними рынками, начинает погоню за внешними. Политическое господство становится формой, орудием и броней экономической эксплуатации. Старые колониальные Империи Англии и Голландии просыпаются от вековой дремы для новой лихорадочной работы. Поздно пришедшие народы спешно строят свои новые Империи за морем: Франция, Бельгия, Италия, Германия. Впрочем, *sero venientibus ossa*. Для Германии не нашлось уже «места под солнцем» Африки и Азии, достаточно рентабельного, и она обратила главную ось своей экспансии на Ближний Восток. Здесь она проникла в империалистическую зону сил Англии и России, что и было одной из главных причин первой великой войны. В эту войну вступили уже не европейские народы или нации, а мировые Империи, подобные драконам, головы которых еще умещались в Европе, но туловища покрывали почти весь земной шар.

Конфликты, приведшие к войне, были двух порядков: национальные и империалистические. Национальной, в старом смысле слова, была борьба Франции и Германии из-за Эльзас-Лотарингии, борьба немцев и славян на Дунае, внутри и вне Австро-Венгерской монархии. Империалистическая экспансия поссорила Германию с Англией и Россией. На Версальской конференции явно преобладали мотивы национальные, даже этнографические. Ее идеальным планом, на практике оказавшимся неосуществимым, было воплощение старой романтической мечты: для каждой народности свое государство. Крушение нескольких Империй позволило кроить новые государства в Европе щедро и, на первый взгляд, безболезненно. Вопрос о колониях, о переделе мира и мировых богатств стоял на втором плане.

Вторую войну можно понять лишь в теснейшей связи с первой, как ее второй акт. Основной силой взрыва было болезненно-раздраженное, в результате поражения, национальное чувство Германии, самой динамической нации Европы. В ее сознании давно уже национальные мотивы неразрывно сплетались с империалистическими. Это значит: пафос освобождения становился для нее волей к власти. Гитлер и выставил для нее программу в сущности беспредельного господства: сначала в Восточной Европе, потом в Европе вообще — наконец, во всем мире. С поразительной легкостью ему удалось осуществить две части своей программы. Впервые со времен Наполеона Европа подчинилась единому «порядку». Этот порядок, то есть господство Германии, приняла и Франция, казалось бы, ее вечный и непримиримый враг. На службу мечу стали и новые идеологии, в которых расовые и буржуазно-классовые мотивы сплетались с самыми передовыми; сверхнациональными и социалистическими. Бессилие и малодушие находили опору в стремлении к миру, к европейскому единству, к универсальной организации.

Потеря чувства меры (как в случае с Наполеоном) и ассирийское варварство методов завоевания сгубили Гитлера и Германию. Он нес народам не мир на основе права и порядка, который побежденные могли бы принять скрепя сердце, но унижение, порабощение, для многих физическое истребление. В результате Германия вызвала против себя взрыв национальных чувств и страстей, который оказался сильнее потребности в порядке и единстве. Англия и Россия боролись за свое существование. Движения сопротивления возродили революционный национализм, напоминающий эпоху наполеоновских войн. Второй акт мировой войны окончился крушением германского варианта мировой Империи.

В результате этих двух «раундов» старая Европа с ее сложившейся системой международных отношений отошла в вечность. Погибли или погибают все ее Империи, кроме России, на равновесии которых держался мир. Нет больше Австро-Венгрии, Турция ушла из Европы, Италия потеряла все колонии, Германия — конечно, временно, — не существует даже как государство. Франция сведена на степень второстепенной державы, которая делает бессильные попытки спасти свою распадающуюся заморскую Империю. Англия, хотя и дважды победоносная и способная к героической борьбе, ослаблена тяжким кровопусканием и вынуждена сама начать ликвидацию — своей Империи. В отличие от Франции, она проявляет в этом процессе свертывания много проницательности и великодушия. Она действительно стремится перестроить свою Империю в добровольную федерацию наций, преимущественно англосаксонской культуры. Но, занятая огромными внешними трудностями, она бессильна помочь Европе в организации хаоса.

Этот хаос создан не только военными потрясениями. Если погибли империи, то и государства-нации не смогли организовать жизни в образовавшейся политической пустоте. Прежде всего выяснилась утопичность чисто этнографической государственности. Историческая чересполосица племен., естественные географические рубежи (Богемия), исторические воспоминания и притязания делают национальную проблему Восточной Европы неразрешимой. Чем дальше мы идем по путям мнимых

решений, тем больше накапливается ненависти, к старым прибавляются новые несправедливости, открываются источники новых конфликтов. С другой стороны, национальное чувство в наши дни, столь беспощадное к слабым соседям, оказывается неожиданно и жалко покорным перед торжествующей силой. Чехословакия добровольно отдалась московскому властелину. А ведь Франция и Чехословакия были классическими странами современного демократического национализма. Почти все силы сопротивления в Европе, боровшиеся с Гитлером, предадут теперь свою родину новому восточному завоевателю. Точно цель всей их борьбы была в том, чтобы переменить одного тирана на другого.

Нет, не национальное сознание способно сейчас организовать мир; скорее оно мешает новой организации, стремится увековечить хаос. Нечего и говорить о том, что за столетие индустриального капитализма оно растеряло все те великие ценности, которые некогда национальный романтизм писал на своем знамени. Культура — или бескультурность — современных наций становится все более космополитической, безнадежно однообразной. Национальные традиции служат больше для декоративной рекламы внутренне пустой технической цивилизации.

\* \* \*

Итак, ни равновесие Империй, ни мирное строительство малых наций не даны для новой исторической эпохи. Пока над руинами и хаосом Европы высятся два гиганта, два победителя, вознесенные мировой войной на небывалую высоту. Для всех ясно, насколько неустойчиво новое равновесие. При всяких обстоятельствах дуализм политических сил, направления которых пересекаются почти во всех точках общего «жизненного пространства», неизбежно приводит к их столкновению. Правда, сейчас нет недостатка в карликах, которые, в страхе от приближающейся грозы, пытаются играть роль посредников между гигантами. Но их политический вес слишком ничтожен, чтобы поддерживать шатающееся равновесие. В данном случае нельзя даже говорить о столкновении как о событии будущего. Борьба между двумя Империями уже ведется методами дипломатии, экономики, пропаганды. Даже прямые военные действия идут, хотя и под прикрытием чужих флангов. Сейчас СССР ведет войну в Греции и в Китае, как ранее вел ее в Иране и во всей уступленной ему, но подлежащей покорению территории Восточной Европы. Для СССР война еще продолжается; мир не подписан, да он и не должен быть подписан. Сталин явно выступил в качестве преемника Гитлера не только в сфере былого фактического господства Германии, но и ее притязаний. Для правящего слоя в России дело идет о господстве над миром путем завоевания и революции.

Америка не мечтает о мировом господстве. Она думает больше об организации своей безопасности, но поняв уже, что мир стал слишком тесен для безопасности одиноких. Она уже преодолела свой врожденный изоляционизм и пытается организовать мировой хаос. Пока еще только долларом и хлебом, не адекватными пулеметам и пушкам ее вездесущего противника. Но военный потенциал Америки огромен. В случае военного столкновения ее победа несомненна, по крайней мере при настоящем соотношении вооружений и сил. Ее беда в том, что она не умеет реализовать свой военный потенциал в обстановке мира, главным образом благодаря «викторианской» отсталости своего политического мышления.

Но Америке не чужда мысль о мировом единстве. Она пыталась воплотить ее в бескровном призраке ООН, этом ухудшенном издании Лиги Наций. По-видимому, она сейчас уже не верит в нее. В мире, разделенном пополам непримиримыми противоречиями, не может быть никаких Объединенных Наций. Но как ни компрометирует это жалкое учреждение великую идею единства, она сейчас жива, как никогда. Жива, несмотря на разлив национальных страстей, несмотря на подготовку третьей войны. Ведь эта война готовится не для защиты национальных, ограниченных интересов, но во имя организации мира. Сталин, подобно Гитлеру, мыслит эту организацию как порабощение и подчинение мира своей социальной системе и единой

воле господина; Америка и Англия — как союз юридически равных, как федерацию демократических народов.

До сих пор идея мирового государства не защищается правящими кругами англосаксонских союзников. Они вынуждены считаться с самолюбиями средних и малых народов, с узким национализмом своих собственных стран. Потеря национального суверенитета пугает. XIX век держит в плену их сознание. Но уже Черчилль имеет смелость говорить о Соединенных Штатах Европы. Но уже Маршалл требует единой экономической организации Европы как условия американской помощи для хозяйственной реконструкции. И в перспективе атомного оружия Америка вместе со всеми демократиями Запада настаивает на частичном ограничении суверенитета. Однако это частичное ограничение означает отказ от права войны и от свободы вооружений. При современной атомной технике оно, в сущности, означает всеобщее разоружение и создание мировой армии. Лишенное права войны и мира, государство перестает существовать как суверенное. Оно вынуждено отказаться и от внешней политики, которая станет внутренней политикой рождающегося сверхнационального государства.

При неизбежном сопротивлении России этот план является совершенно утопическим. Но попробуйте мысленно устранить Россию, и он завтра же станет реальностью. Мысленное устранение, конечно, не поможет реализации. Но мы видели, что почти стихийный ход событий (включающий и сознательную волю правительства России) ведет к войне, которая может реально устранить либо Россию, либо Америку со всеми оставшимися демократиями мира.

Все вероятности говорят в пользу того, что новое мировое государство, или новая универсальная Империя, родится, как и все бывшие Империи, в результате войны, а не мира. Теоретически мыслимо, конечно, образование федерации народов в результате совершенно свободного соглашения равных. Хотя мир никогда не знал такого опыта, но новое, небывалое — как, например, фашизм или коммунистическая революция — рождается на наших глазах. Однако совершенно свободный отказ от суверенитета предполагает слишком высокий уровень политической морали. Об этом позволительно было мечтать в XIX или в начале XX века, когда старая Европа стояла в апогее своей политической цивилизации. Женевская Лига Наций давала ей последний шанс. С тех пор, в результате двух страшных войн, политическая мораль европейских народов пала так низко, как, может быть, никогда за время всей христианской истории. Политическая фразеология находится в кричащем противоречии с политическими реальностями. Для всех практических соображений можно принять, что сейчас народы мира движутся близоруким эгоизмом, ненавистью и, всего больше, страхом. Это значит, что они готовы принять единство, только продиктованное силой, только в форме Империи.

Сила еще не значит завоевание, Империя еще не значит господство. Сейчас история предлагает народам мира два варианта Империи, из которых один является действительно небывалым, хотя и вполне возможным. Эти два варианта соответствуют двум возможным победителям, на долю которых выпадает организовать мир.

Легко себе представить, как будет выглядеть мир в случае победы России. Распространение коммунистической системы по всему земному шару. Истребление высших классов и всех носителей культуры, дышавших воздухом свободы и не желающих от него отказаться. Массовые казни в первые годы, каторжные лагеря на целое поколение. Закрепощение всех профессий на службу всемирному государству. Управление им, централизованное в Москве, при фиктивной независимости федеративных наций.

Постепенное (а может быть, и быстрое) заглушение всех высших сфер культуры за счет технического знания. До сих пор краски этой картины взяты из действительного опыта России и Восточной Европы. Идя дальше, можно представить себе, что в обстановке мира и технической цивилизации материальные потребности покоренных народов будут удовлетворены, чего никогда не было достигнуто в СССР. Парии Азии и

негры Африки впервые наедятся риса досыта. Вероятно, они будут благословлять свою судьбу. Мировая Империя Москвы будет прочна, как древние тоталитарные Империи — Египта, Китая, Византии. Конечно, удушение свободы поведет к постепенному падению не только духовной культуры, но, в конце концов, и самого технического знания. Конец «прогресса». Медленное понижение уровней. Одряхление, которое может тянуться века, чтобы закончиться новым варварством. В этом прогнозе не предусмотрено одно: способность человеческого духа к творческим взрывам вроде рождения новых религий или реформации старых, которые могут разрушить или преобразовать самые твердые, неподвижные цивилизации.

Менее ясен, но более светел другой вариант Империи: Pax Atlantica, или лучше Pax Americana. В случае победы Америки, Англии и их союзников единство мира должно отлиться в форме действительной, а не мнимой федерации. Такова сама структура и Соединенных Штатов, и Британского Commonwealth. В настоящее время англосаксы и не представляют себе власти, организованной вне самоуправления. Даже молодой империализм Америки, при всей жадности к стратегическим базам, начинает с освобождения своих старых колоний. Опасность Атлантического варианта Империи не в злоупотреблении властью, а скорее в бездействии власти. У свободных народов нет вкуса к насилию, и это прекрасно. Но в настоящее время у них нет и вкуса к власти, и это опасно.

В отличие от России, Америка не может не считаться со своими союзниками, из которых АНГЛИЯ, или ведомая ею Федерация доминионов, представляет еще серьезную силу. Самолюбия и эгоизмы европейских народов тоже создают немалые препятствия. Они безропотно покорятся самой гнусной из тираний, но будут роптать при легких ограничениях суверенитета. Заставить их войти в мировую Империю, организованную в форме федерации, нелегко. Нужна большая воля и большая гибкость, чтобы добиться повиновения слабых в рамках демократической законности. Юная федерация не может быть федерацией равных по существу, но лишь по форме. Лишь время и общее разоружение сделают излишней гегемонию сильного и возможным уравнение политического влияния. Если сильный откажется от своей тяжелой ответственности, мир снова развалится, и уже безнадежно.

Но опыт двух войн показал, что англосаксонские демократии, часто пассивные во время мира, находят в себе волю и способность к героическому напряжению в роковой час. Чувство ответственности может заменить для них вкус к власти.

Итак, нет основания бояться порабощения народов в случае победы Америки. Экономические интересы, конечно, потребуют своего удовлетворения. Надо признать, что спасение мира стоит известных материальных жертв в пользу победителя. Да и распространение в Европе опасения американской эксплуатации страшно преувеличены. Пока что Америка бросает миллиарды для восстановления Европы, и не видно, чтобы она получила что-либо взамен.

Атлантическая Империя столь же мало предполагает единство экономической системы, как и единообразие политическое. Социализм и капитализм в разных дозах могут уживаться в общих экономических рамках. Пример социалистической Англии показывает, что в наши дни не экономика соединяет народы или разводит их по разным лагерям. Общие основы англосаксонской цивилизации не изменились с отказом Англии от капиталистической системы. Но, конечно, необходимость регулирования мирового хозяйства в единой Империи чрезвычайно усилит сама по себе социалистические тенденции отдельных стран.

Здесь кончается возможность предвидения. В отличие от четких очертаний коммунистической Империи, общество, построенное на свободе, таит в себе неограниченные возможности. Где свобода, там и возможность конфликтов. Где борьба, там и возможность поражений. Но также и необычайных побед. Мы знаем, что западная цивилизация

тяжко больна; международные столкновения лишь один из симптомов общего недуга. И по устранении их остается возможность социальных потрясений, моральных кризисов, духовных бурь. В конце концов, вопрос о спасении нашей культуры есть вопрос духа. Но если будет устранена угроза войны между народами, если будет достигнуто всеобщее разоружение, человечество получит еще одну отсрочку — как древняя Ниневия в книге пророка Ионы.

Одной из главных проблем грядущей Империи будет установление отношений между членами западной семьи и возрождающимися народами Востока. Но это тема будущего. Сейчас Восток еще слишком слаб технически, чтобы не включиться, охотно и с выигрышем для себя, в новую федеративную Империю. Как удержать его в ней, по достижении им технического совершеннолетия, это проблема наших детей и внуков, которая, конечно, займет когда-то главное поле истории.

*Ceterum censeo*: нельзя забывать о третьей возможности — возможности не победы одной из двух Империй, а всеобщего разрушения и гибели, если столкновение произойдет в условиях приблизительного равенства сил и оружия.

\* \* \*

Остановимся на одном из возможных исходов. Какая судьба ожидает Россию в случае ее поражения? Если бы Россия была национальным государством, как Франция или современная Германия, ответ был бы сравнительно прост и не столь для нее трагичен. Да, она, конечно, прошла бы через ужасы разорения, унижения, голода, через которые сейчас проходит Германия, с той только разницей, что, в отличие от Германии, ей не привыкать стать к голоду и рабству. Для большинства ее населения падение ненавистной власти, даже ценой временной иностранной оккупации, явится освобождением. Ведь американцы не собираются колонизировать Россию, как Гитлер, или истреблять ее «низшие» расы. Но дело осложняется тем, что Россия не национальное государство, а многонациональная Империя; последняя, единственная в мире, остающаяся после ликвидации всех Империй. Было бы чудом, если бы она вышла невредимой из ожидающей ее катастрофы, в тех географических очертаниях, в которых ее застала революция.

Правда, Россия является Империей своеобразной. По своей национальной и географической структуре он занимает среднее место между Великобританией и Австро-Венгрией. Ее нерусские владения не отделены от нее морями. Они составляют прямое продолжение ее материкового тела, а массив русского населения не отделен резкой чертой от инородческих окраин. Но Дальний Восток или Туркестан, по своему экономическому и даже политическому значению, совершенно соответствуют колониям западных государств. Типологическое, то есть качественное сходство с Австро-Венгрией еще значительнее. Однако процент господствующего великорусского населения в Империи Романовых был гораздо выше немецкого в Империи Габсбургов. Это сообщало России несравненно большую устойчивость. Сходство будет полнее, если вместо Австро-Венгрии последних десятилетий взять Германскую Империю до 1805 года. Русские и немцы играли одну и ту же цивилизаторскую и ассимиляционную роль. Правда, среди подданных Германии были страны древних и богатых культур. Вместо одной Русской Польши, Германия имела три: Польшу, Венгрию и Богемию. Однако с подъемом культуры народностей России и соответствующим ростом их сепаратизмов Россия приближалась к типу Австро-Германии.

Но мы не хотели видеть сложной многоплеменности России. Для большинства из нас перекройка России в СССР, номинальную федерацию народов, казалась опасным маскарадом, за которым скрывалась вся та же русская Россия или даже святая Русь.

Как объяснить нашу иллюзию? Почему русская интеллигенция в XIX веке забыла, что она живет не в Руси, а в Империи? В зените своей экспансии и славы, в век «екатерининских орлов», Россия создала свою многоплеменность и гордилась ею. Державин пел «царевну киргиз-кайсацкой орды», а Пушкин, последний певец Империи,

предсказывал, что имя его назовет «и ныне дикой тунгуз и друг степей калмык». Кому из поэтов послепушкинской поры пришло бы в голову вспоминать о тунгузах и калмыках? А державинская лесть казалась просто непонятной — искусственной и фальшивой. Но творцы и поэты Империи помнили о ее миссии: нести просвещение всем ее народам — универсальное просвещение, сияющее с Запада, хотя и в лучах русского слова.

После Пушкина, рассорившись с царями, русская интеллигенция потеряла вкус к имперским проблемам, к национальным и международным проблемам вообще. Темы политического освобождения и социальной справедливости завладели ею всецело, до умоисступления. С точки зрения гуманитарной и либеральной, осуждались Империя, все Империи, как насилие над народами, но результаты этого насилия принимались как непререкаемые. Более того. XIX век для большинства интеллигенции означал служение национального сознания до пределов Великороссии. Россия была необъятно велика, и мало кто из русских образованных людей изъездил ее из конца в конец; непоседливых манила сказка Запада. Но, и путешествуя по России, русский не выходил из своего привычного уклада: объяснялся везде по-русски, видел везде одну и ту же русскую администрацию и туземцев, побогаче и познатнее, уже входящих в быт, язык и культуру завоевателей. Интеллигенция возмущалась насильственной русификацией или крещением инородцев, но это возмущение относилось к методам, а не к целям. Ассимиляция принималась как неизбежное следствие цивилизации. Еще полвека или век, и вся Россия будет читать Пушкина по-русски (так понимался «Памятник»), и все этнографические пережитки сделаются достоянием музеев и специальных журналов.

Есть еще одна неожиданная сторона русского западничества. Россией вообще интересовались мало, ее имперской историей еще меньше. Так и случилось, что почти все нужные исследования в области национальных и имперских проблем оказались предоставленными историкам националистического направления. Те, конечно, строили тенденциозную схему русской истории, смягчавшую все темные стороны исторической государственности. Эта схема вошла в официальные учебники, презираемые, но поневоле затверженные и не встречавшие корректива. В курсе Ключевского нельзя было найти истории создания и роста Империи.

Так укоренилось в умах не только либеральной, но отчасти и революционной интеллигенции наивное представление о том, что русское государство, в отличие от всех государств Запада, строилось не насилием, а мирной экспансией, не завоеванием, а колонизацией. Подобное убеждение свойственно националистам всех народов. Французы с гордостью указывают на то, что генерал Федерб с ротой солдат подарил Франции Западную Африку, а Лиотэ был не столько завоевателем Марокко, сколько великим строителем и организатором. И это правда, то есть одна половина правды. Другая половина, слишком легко бросающаяся в глаза иностранцам, недоступна для националистической дальнзоркости.

Несомненно, что параллельный немецкому русский *Drang nach Osten* оставил меньше кровавых следов на страницах истории. Это зависело от редкой населенности и более низкого культурного уровня восточных финнов и сибирских инородцев сравнительно с западными славянами. И однако — как упорно и жестоко боролись хотя бы вогулы в XV веке с русскими «колонизаторами», а после них казанские инородцы и башкиры. Их восстания мы видим при каждом потрясении русской государственности — в Смутное время, при Петре, при Пугачеве. Но с ними исторические споры покончены. Несмотря на искусственное воскресение восточно-финских народностей, ни Марийская, ни Мордовская республики не угрожают целостности России. Уже с татарами дело сложнее. А что сказать о последних завоеваниях Империи, которые, несомненно, куплены обильной кровью: Кавказе, Туркестане?

Мы любим Кавказ, но смотрим на его покорение сквозь романтические поэмы Пушкина и Лермонтова. Но даже Пушкин обронил жестокое слово о Цицианове, который «губил, ничтожил племена». Мы заучили с детства о мирном присоединении Грузии, но

мало кто знает, каким вероломством и каким унижением для Грузии Россия отплатила за ее добровольное присоединение. Мало кто знает и то, что после сдачи Шамиля до полумиллиона черкесов эмигрировало в Турцию. Это все дела недавних дней. Кавказ никогда не был замирен окончательно. То же следует помнить и о Туркестане. Покоренный с чрезвычайной жестокостью, он восставал в годы первой войны, восставал и при большевиках. До революции русское культурное влияние вообще было слабо в Средней Азии. После революции оно было такого рода, что могло сделать русское имя ненавистным.

Наконец, Польша, эта незаживающая (и поныне) рана в теле России. В конце концов вся русская интеллигенция — в том числе и националистическая — примирилась с отделением Польши. Но она никогда не сознавала ни всей глубины исторического греха, совершаемого — целое столетие — над душой польского народа, ни естественности того возмущения, с которым Запад смотрел на русское владычество в Польше. Именно Польше Российская Империя обязана своей славой «тюрьмы народов».

Была ли эта репутация заслуженной? В такой же мере, как и другими европейскими Империями. Ценой эксплуатации и угнетения они несли в дикий или варварский мир семена высшей культуры. Издеваться над этим смеет только тот, кто исключает сам себя из наследия эллинистического мира. Для России вопрос осложняется культурным различием ее западных и восточных окраин. Вдоль западной границы русская администрация имела дело с более цивилизованными народностями, чем господствующая нация. Оттого, при всей мягкости ее режима в Финляндии и Прибалтике, он ощущался как гнет. Русским культуртрегерам здесь нечего было делать. Для Польши Россия была действительно тюрьмой, для евреев гетто. Эти два народа Империя придавила всей своей тяжестью. Но на Востоке, при всей грубости русского управления, культурная миссия России бесспорна. Угнетаемые и разоряемые сибирские инородцы, поскольку они выживали — а они выживали, — вливались в русскую народность, отчасти в русскую интеллигенцию. В странах ислама, привыкших к деспотизму местных эмиров и ханов, русские самодуры и взяточники были не страшны. В России никого не сажали на кол, как сажали в Хиве и Бухаре. В самих приемах русской власти, в ее патриархальном деспотизме, было нечто родственное государственной школе Востока, но смягченное, гуманизированное. И у русских не было того высокомерного сознания высшей расы, которое губило плоды просвещенной и гуманной английской администрации в Индии. Русские не только легко общались, но и сливались кровью со своими подданными, открывая их аристократии доступ к военной и административной карьере. Общий баланс, вероятно, положительный, как и прочих Империй Европы. И если бы мир мог еще существовать как равновесие Империй, то среди них почетное место занимала бы Империя Российская. Но в мире уже нет места старым Империям.

Национально-романтическое движение докатилось до пределов России с некоторым запозданием. Но сразу оно приняло и политический характер. Быть может, это соответствовало и слабости романтического национализма (славянофильства) в самой Великороссии. Тяготение к западной культуре (через посредство России) долго перевешивало в меньшинственных интеллигенциях их этнографическую связь со своими народами. Но неизбежное наступило. Одним из первых Рунеберг, создатель Калевалы, положил начало финской литературе, создавая новую нацию из того, что было лишь этнографической народностью. Во второй половине столетия возрождаются или просто рождаются на свет эстонская и латышская литература — будущие нации, творимые поэтами. Тогда же происходит новый расцвет древних литератур Кавказа — грузинской и армянской. Одной из первых, в начале XIX века, романтическое веяние коснулось и оживило литературу украинскую. Уже к середине века, в Кирилло-Мефодиевском братстве, украинское движение принимает политический характер.

Пробуждение Украины, а особенно сепаратистский характер украинофильства изумил русскую интеллигенцию и до конца остался ей непонятным. Прежде всего потому,

что мы любили Украину, ее землю, ее народ, ее песни, считали все это своим, родным. Но еще и потому, что мы преступно мало интересовались прошлым Украины за три-четыре столетия, которые создали ее народность и ее культуру, отличную от Великороссии. Мы воображали, по схемам русских националистов, что малороссы, изнывая под польским гнетом, только и ждали, что воссоединиться с Москвой. Но русские в Польско-Литовском государстве, отталкиваясь от католичества, не были чужаками. Они впитали в себя чрезвычайно много элементов польской культуры и государственности. Когда религиозные мотивы склонили казачество к унии с Москвой, здесь ждали его горькие разочарования. Московское вероломство не забыто до сих пор. Ярче всего наше глубокое непонимание украинского прошлого сказывается в оценке Мазепы. Новый этап в создании украинской нации падает на вторую половину XIX века. Бессмысленные преследования украинской литературы перенесли центр национального движения из Киева во Львов, в Галицию, которая никогда не была связана ни с Москвой, ни с Петербургом. Это имело двойные последствия. Во-первых, литературный язык вырабатывался на основе галицийского наречия, а не полтавского или киевского, то есть гораздо более далекого от великорусских говоров.

Польский, а не русский язык стал источником новых отвлеченных и научных словообразований. Русский мог без труда понимать Шевченко, но язык Грушевского был ему непонятен, казался искусственным. Как будто не все литературные языки были искусственными при своем создании — русский язык Ломоносова или латинский Энниа! Но мы по-прежнему упрямо продолжали считать малороссийский язык лишь областным наречием русского, хотя слависты всего мира, включая Российскую Академию наук, давно признали это наречие за самостоятельный язык. То, что этот язык из языка фольклорной поэзии сделался языком отвлеченной мысли, на котором уже существует большая научная литература, окончательно решает вопрос об украинской нации. Грушевский может быть назван ее создателем.

На наших глазах рождалась на свет новая нация, но мы закрывали на это глаза. Мы были как будто убеждены, что нации существуют извечно и неизменно, как виды природы для доэволюционного естествознания. Мы видели вздорность украинских мифов, которые творили для киевской эпохи особую украинскую нацию, отличную от русской. Но мы забывали, что историческая мифология служила лишь для объяснения настоящей реальности.

Нации не было, но она рождалась — рождалась веками, но в ускоряющемся темпе в наши дни. 1917 год был актом ее официального рождения.

То обстоятельство, что центр движения был в Галиции, обособляло и политически новую нацию от общей судьбы народов России; облегчало для нее переход от федеративной идеологии Костомарова и Драгоманова к идее «самостийности».

Было еще одно движение среди народов России, центр которого оказался за рубежом и которое мы совершенно проглядели. Это было пантюркское движение, связывавшее литературное и политическое пробуждение русских татар с возрождением Молодой Турции.

Русские националисты первые заметили опасность, угрожающую Империи. Они ответили на нее усилением русификации, травлей инородцев, издевательствами над украинцами и еврейскими погромами. Они старательно раздували искры сепаратизмов. Два последних императора, ученики и жертвы реакционного славянофильства, игнорируя имперский стиль России, рубили ее под самый корень. Революционная интеллигенция лишь накануне первой революции пошла навстречу национальным движениям меньшинств. Некоторые из левых партий (не большевики) включили в свою программу федеративный строй Российской республики. С этим и застал нас 1917 год.

Трудно возразить что-либо против идеи федерации. Это прекрасная, разумная программа. Для малых народов она обещает и свободу, и преимущества жизни в великом, веками сложившемся организме. Экономические блага имперской кооперации бесспорны,

так же как и преимущества военной защиты. Может быть, если бы федеративный строй России осуществился в 1905 году с победой освободительного движения, он продлил бы существование Империи на несколько поколений. Но, к сожалению, народы — по крайней мере в наше время — живут не разумом, а страстями. Они предпочитают резню и голод под собственными флагами.

Как страстно славяне ненавидели «лоскутную» Австро-Венгрию, и как многие теперь жалеют о ее гибели. Старая Австрия давно уже перестала быть Габсбургской деспотией. С 60-х годов она перестраивалась на федеративный лад. Некоторые из ее народов — венгры, поляки — уже чувствовали себя хозяевами на своей земле, для других время полного самоуправления приближалось. Все вообще пользовались той долей политической свободы, какая была немыслима в царской России. И, однако, они предали свое отечество в годину смертельной опасности.

В 1917 году демократическая интеллигенция, полгода управлявшая Россией, октроировала федеративное самоуправление некоторым из ее народов. Но в обстановке развала и падения военной мощи России федерация уже не удовлетворяла. А когда в Великороссии победил большевизм, от нее побежали, как от чумы. Большевики силой оружия собрали Империю и террором, как железным обручем, держат уже почти три десятилетия ее распадающийся состав.

Многим казалось, даже среди непримиримых врагов большевизма, что решение национальной проблемы в СССР принадлежит к самым удачным их достижениям. Оно сводится к двум принципам: полная культурная автономия и никакой политической.

Отсутствие политической свободы прикрывалось обильными поблажками национальному тщеславию. Даже имя России было уничтожено. Одиннадцать республик СССР жили «под своими собственными флагами»: по конституции они имели даже право на отделение. В первые годы революции национальные силы всех народов, кроме великорусского, не только освобожденные, но и получившие государственную поддержку, привели к расцвету национальных культур. Значительная часть интеллигенции нашла удовлетворение в культурном народничестве. Конечно, вся власть принадлежала коммунистической партии, а партия управлялась из Москвы.

Этот расцвет продолжался недолго. Большевизм был системой не только политической, но и прежде всего идеологической. Национальный романтизм, неизбежно принимавший идеалистическую окраску, был ему ненавистен. На десятках языков Союза должны были печататься и читаться только полные собрания сочинений Маркса и Ленина. Это было достигнуто, с прибавлением од Сталину. Для этого понадобилось задушить национальные литературы (особенно украинскую и тюркскую) с истреблением значительной части их интеллигенции. С тех пор национальные движения были загнаны в подполье. — Но это значит, что опять, как в царские времена, на окраинах скопляются центробежные силы, готовые взорвать мнимофедеративную Империю. И чем более они сдавлены прессом НКВД, тем эффективнее должен быть их взрыв после освобождения.

Большевистский режим ненавистен и огромному большинству великороссов. Но общая ненависть не спаивает воедино народов России. Для всех меньшинств отвращение от большевизма сопровождается отталкиванием от России, его породившей. Великорусе не может этого понять. Он мыслит: мы все ответственные, в равной мере, за большевизм, мы пожинаем плоды общих ошибок. Но хотя и верно, что большевистская партия вобрала в себя революционно-разбойничьи элементы всех народов России, но не всех одинаково. Русскими преимущественно были идеологи и создатели партии. Большевизм без труда утвердился в Петербурге и в Москве, Великороссия почти не знала гражданской войны; окраины оказали ему отчаянное сопротивление. Вероятно, было нечто в традициях Великороссии, что питало большевизм в большей мере, чем остальная почва Империи: крепостное право, деревенская община, самодержавие. Украинец или грузин готовы преувеличивать национально-русские черты большевизма и обелять себя от всякого сообщничества. Но их иллюзии естественны.

Железный занавес тоталитарной лжи мешает нам видеть ясно, что происходит за пределами общеизвестного застенка. Но есть три факта, которые заставляют предполагать рост сепаратизмов в СССР. Во-первых, по свидетельству беглецов, «националы» составляют заметный процент населения концлагерей. Их присутствие там не уравнивается представительством политических течений или партий Великороссии, ибо таковых не существует. В бесформенной оппозиционной массе, смешанной с уголовными, выделяются, хотя бы с ярлыком шпионов, только представители малых народов России.

Во-вторых, после второй войны правительство уничтожило пять республик (или областей) за сотрудничество с немцами. Республики невелики, но показательны; до других ведь и не дотянулась германская оккупация. Украины уничтожить было нельзя без всесоюзного позора, но, кажется, и она заслуживала той же участи. Мы знаем об украинских воинских частях, сражавшихся вместе с немцами, об украинской Церкви, об эмбрионе украинского правительства. Пораженчество, конечно, захватило и Великороссию, но на Украине оно сказалось много ярче.

И, наконец, мы видим то, что происходит в эмиграции, среди нас. Можно утверждать, что зарубежные настроения не вполне соответствуют внутрисоветским: преувеличения революционеров неизбежны. Но нельзя думать, что они совершенно оторваны от советской действительности; по крайней мере для нас, великороссов, война и новая эмиграция принесла скорее подтверждение наших оценок. И вот, среди всех групп русской эмиграции представители Других национальностей России блистают своим отсутствием. Они строят свои собственные организации, даже не пытаясь установить какие-либо связи с русскими товарищами по борьбе или собратями по судьбе. Более того, ни с чьей стороны мы не встречаем такой ненависти, как со стороны украинцев, которых мы-то считали — ошибочно — совсем своими. Как далеки мы от времен старой эмиграции, когда, в чаянии грядущей революции, вожди всех народов России объединялись в борьбе «за нашу и вашу свободу»!

Нетрудно предвидеть, что, в случае военного поражения России, произойдет не только падение советского режима, но и восстание ее народов против Москвы. Даже те экономические и политические мотивы, которые могли бы говорить в пользу их связей с Великороссией, превращаются в свою противоположность в условиях поражения. Быть с Россией значит разделить ее ответственность, ее тяжкую судьбу. С другой стороны, перед победителем встанет вопрос, подобный тому, который стоит после поражения Германии. Как обеспечить мир и в будущем от висящей над ним угрозы русской агрессии? Большевизм умрет, как умер национал-социализм. Но кто знает, какие новые формы примет русский фашизм или национализм для новой русской экспансии? Если бы не было никаких сепаратизмов в России, их создали бы искусственно; раздел России все равно был бы предрешен. Фактическое положение сделает возможным произвести его в согласии с волей большинства ее народов, в условиях демократической справедливости. На плечи победителей, ко всем их мировым проблемам, ляжет добавочная тяжесть: организация хаоса на территории Восточной Европы. Мировая Империя — нелегкое предприятие. Но военная оккупация облегчит первые шаги.

Перспективы войны и поражения России способны потрясти не одних националистов, но и всякого русского, не совсем потерявшего связь со своим народом и его культурой. Теоретически есть еще шанс — кажется, единственный шанс — предотвращения новой войны: это падение большевистской власти в России. От скольких ужасов оно избавило бы мир! Не будем говорить сейчас, возможно ли оно, — нам представляется, что шансы его ничтожны. Но в судьбе России как обреченной Империи этот вариант ничего не меняет. Снятие страшной тяжести, висевшей над народами России тридцать лет, означает взрыв всех подспудных, революционных и центробежных сил. Пока русский народ будет сводить счеты со своими палачами, в общем неизбежном хаосе большинство национальностей, как в 1917 году, потребуют реализации своего

конституционного права на отделение. Вероятно, произойдет гражданская война приблизительно равных половин бывшей России. Если даже победит Великороссия и силой удержит при себе народы Империи, ее торжество может быть только временным. В современном мире нет места Австро-Венгрии. Если миром будет править единая власть — единственный шанс его спасения, — она будет обязана прекратить всякое насилие одних народов над другими. Ликвидация последней частной Империи станет вопросом международного права и справедливости.

Для самой России насильственное продолжение имперского бытия означало бы потерю надежды на ее собственную свободу. Не может государство, существующее террором на половине своей территории, обеспечить свободу для другой. Как при московских царях самодержавие было ценой, уплаченной за экспансию, так фашизм является единственным строем, способным продлить существование каторжной Империи. Конечно, ценой дальнейшего ухудшения ее культуры.

\* \* \*

*Finis Russiae?* Конец России или новая страница ее истории? Разумеется, последнее. Россия не умрет, пока жив русский народ, пока он живет на своей земле, говорит своим языком. Великороссия, да еще с придачей Белоруссии (вероятно) и Сибири (еще надолго), все еще представляет огромное тело, с огромным населением, все еще самый крупный из европейских народов. Россия потеряет донецкий уголь, бакинскую нефть — но Франция, Германия и столько народов нефти не имели. Она обеднеет, но только потенциально, потому что та нищета, в которой она живет при коммунистической системе, уйдет в прошлое. Ее военный потенциал сократится, но он потеряет свой смысл при общем разоружении. Если же разоружения не произойдет, то погибнет не одна Россия, а все культурное человечество. Даже чувство сожаления от утраты былого могущества будет смягчено тем, что никто из бывших соперников в старой Европе не займет ее места. Все старые Империи исчезнут.

В конце концов, имперское сознание питалось не столько интересами государства — тем менее народа, — сколько похотью власти: пафосом неравенства, радостью унижения, насилия над слабыми. Этот языческий комплекс для России XIX века означал кричащее противоречие между политикой государства и заветами ее духовных вождей. Русская литература была совестью мира, а государство пугалом для свободы народов. Потеря Империи есть нравственное очищение, освобождение русской культуры от страшного бремени, искажающего ее духовный облик.

Освобожденная от военных и полицейских забот, Россия может вернуться к своим внутренним проблемам — к построению выстраданной страшными муками свободной социальной демократии. Но после тридцатилетия коммунизма русский человек огрубел, очерствел — говоря словами народного стиха, покрылся «еловой корой». Вероятно, не одно поколение понадобится для его перевоспитания, то есть для его возвращения в заглохшую традицию русской культуры, а через нее — и русского христианства. К этой великой задаче должна уже сейчас, в изгнании, готовиться русская интеллигенция вместо погони за призрачными орлами Империи.

## **Будет ли существовать Россия?**

Вопрос этот, несомненно, покажется нелепым для большинства русских людей. Мы привыкли, вот уже одиннадцать лет, спрашивать себя об одном: скоро ли падут большевики? Что за падением большевиков начинается национальное возрождение России, в этом не было ни искры сомнения. В революции мы привыкли видеть кризис власти, но не кризис национального сознания.

Многие не видят опасности, не верят в нее. Я могу указать симптомы. Самый тревожный — мистически значительный — забвение имени России. Все знают, что

прикрывающие ее четыре буквы «СССР» не содержат и намека на ее имя, что эта государственная формация мыслима в любой части света: в Азии, в Южной Америке. В Зарубежье, которое призвано хранить память о России, возникают течения, группы, которые стирают ее имя: не Россия, а «Союз народов Восточной Европы»; не Россия, а «Евразия». О чем говорят эти факты? О том, что Россия становится географическим пространством, бессодержательным, как бы пустым, которое может быть заполнено любой государственной формой. Одни — интернационалисты, которым ничего не говорят русские национальные традиции; другие — вчерашние патриоты, которые отрекаются от самого существенного завета этой традиции — от противостояния исламу, от противления Чингисхану, — чтобы создать совершенно новую, вымышленную страну своих грез. В обоих случаях Россия мыслится национальной пустыней, многообещающей областью для основания государственных утопий.

Можно отмахнуться от этих симптомов, усматривая в них лишь новые болезни интеллигентской мысли — к тому же не проникшие в Россию. Но никто не станет отрицать угрожающего значения сепаратизмов, раздирающих тело России. За одиннадцать лет революции зародились, окрепли десятки национальных сознаний в ее расслабленном теле. Иные из них приобрели уже грозную силу. Каждый маленький народец, вчера полудикий, выделяет кадры полуинтеллигенции, которая уже гонит от себя своих русских учителей. Под кровом интернационального коммунизма, в рядах самой коммунистической партии складываются кадры националистов, стремящихся разнести в куски историческое тело России. Казанским татарам, конечно, уйти некуда. Они могут лишь мечтать о Казани как столице Евразии. Но Украина, Грузия (в лице их интеллигенции) рвутся к независимости. Азербайджан и Казахстан тяготеют к азиатским центрам ислама.

С Дальнего Востока наступает Япония, вскоре начнет наступать Китай. И тут мы с ужасом узнаем, что сибиряки, чистокровные великороссы-сибиряки, тоже имеют зуб против России, тоже мечтают о Сибирской Республике — легкой добыче Японии. Революция укрепила национальное самосознание всех народов, объявила контрреволюционными лишь национальные чувства господствовавшей вчера народности. Многие с удивлением узнают сейчас, что великороссов в СССР числится всего 54%. И это слабое большинство сейчас же становится меньшинством, когда мы мысленно прилагаем к России оторвавшиеся от нее западные области. Мы как-то проморгали тот факт, что величайшая империя Европы и Азии строилась национальным меньшинством, которое свою культуру и свою государственную волю налагало на целый этнографический материк. Мы говорим со справедливою гордостью, что эта гегемония России почти для всех (только не западных) ее народов была счастливой судьбой, что она дала им возможность приобщиться к всечеловеческой культуре, какой являлась культура русская. Но подрастающие дети, усыновленные нами, не хотят знать вскормившей их школы и тянутся кто куда — к Западу и к Востоку, к Польше, Турции или к интернациональному геометрическому месту — то есть к духовному небытию.

Поразительно: среди стольких шумных, крикливых голосов один великоросс не подает признаков жизни. Он жалуется на все: на голод, бесправие, тьму, только одного не ведает, к одному глух — к опасности, угрожающей его национальному бытию.

Вдумываясь в причину этого странного омертвения, мы начинаем отдавать себе отчет в том, насколько глубок корень болезни. В ней одинаково повинны три главнейшие силы, составлявшие русское общество в эпоху Империи: так называемая интеллигенция и власть. Для интеллигенции русской, то есть для господствовавшего западнического крыла, национальная идея была отвратительна своей исторической связью с самодержавной властью. Все национальное отзывалось реакцией, вызывало ассоциацию насилия или официальной лжи. Для целых поколений «патриот» было бранное слово. Вопросы общественной справедливости заглушали смысл национальной жизни. Национальная мысль стала монополией правых партий, поддерживаемых правительством.

Но что сделали с ней наследники славянофилов? Русская национальная идея, вдохновлявшая некогда Аксаковых, Киреевских, Достоевского, в последние десятилетия необычайно огрубела. Эпигоны славянофильства совершенно забыли о положительном творческом ее содержании. Они были загипнотизированы голой силой, за которой упустили нравственную идею. Национализм русский выразался главным образом в бесцельной травле малых народностей, в ущемлении их законных духовных потребностей, создавая России все новых и новых врагов. И наконец, народ, — народ, который столько веков с героическим терпением держал на своей спине тяжесть Империи. вдруг отказался защищать ее. Если нужно назвать один факт — один, но основной, из многих слагаемых русской революции, — то вот он: на третий год мировой войны русский народ потерял силы и терпение и отказался защищать Россию. Не только потерял понимание цели войны (едва ли он понимал ее и раньше), но потерял сознание нужности России. Ему уже ничего не жаль: ни Белоруссии, ни Украины, ни Кавказа. Пусть берут, делят кто хочет. «Мы рязанские». Таков итог вековой выветривания национального сознания. Несомненно, что в Московской Руси народ национальным сознанием обладал. Об этом свидетельствуют хотя бы ею исторические песни. Он ясно ощущает и тело русской земли, и ее врагов. Ее исторические судьбы, слившиеся для нею с религиозным призванием, были ясны и попятны. В петровской Империи народ уже не понимает ничего. Самые географические пределы ее стали недоступны ему воображению. А международная политика? Ее сложность, чуждость ее задач прекрасно выразилась в одной солдатской песне XVIII века:

*Пишет, пишет король прусский  
Государыне французской  
Мекленбургское письмо.*

Крепостное рабство, воздвигшее стену между народом и государством, заменившее для народа национальный долг частным хозяйственным том, завершило разложение политического сознания. Уже крестьянские бунты и Отечественную войну 1812 года были грозным предвестником. Религиозная идея православного царя могла подвигнуть народ на величайшие жертвы, на чудеса пассивного героизма. Но государственный смысл этих жертв был ему недоступен. Падение царской идеи повлекло за собой падение идеи русской. Русский народ распался, расплылся на зернышки деревенских мирков, из которых чужая сила, властная и жестокая, могла строить любое государство, в своем стиле и вкусе.

Итак, каждая из трех русских общественных сил несет вину — или долю вины — за национальное крушение.

К этим разлагающим силам присоединилось медленное действие одного исторического явления, протекавшего помимо сознания и воли людей и почти ускользнувшего от нашего внимания. Я имею в виду отлив сил; материальных и духовных, от великорусского центра на окраины Империи. За XIX век росли и богатели, наполнялись пришлым населением Новороссия, Кавказ, Сибирь. И вместе с тем крестьянство центральных губерний разорялось, вырождалось духовно и заставляло экономистов говорить об «оскудении центра». Великороссия хирела, отдавая свою кровь окраинам, которые воображают теперь, что она их эксплуатировала. Самое тревожное заключалось в том, что параллельно с хозяйственным процессом шел отлив и духовных сил от старых центров русской жизни. Легче всего следить за этим явлением по литературе. Если составить литературную карту России, отмечая на ней родины писателей или места действия их произведений (романов), то мы поразимся, как слабо будет представлен на этой карте Русский Север, весь замосковский край — тот край, что создал великорусское государство, что хранит в себе живую память «Святой Руси».

Русская классическая литература XIX века — литература черноземного края, лишь с XVI — XVII веков отвоёванного у степных кочевников. Тамбовские, пензенские, орловские поля для нас стали самыми русскими в России. Но как бедны эти места историческими воспоминаниями. Это деревянная, соломенная Русь, в ней ежегодные пожары сметают скудную память о прошлом. Здесь всего скорее исчезают старые обычаи, песни, костюмы. Здесь нет этнографического сопротивления разлагающим модам городской цивилизации. С начала XX века литература русская бросает и черноземный край, оскудевший вместе с упадком дворянского землевладения. Выдвигается новороссийская окраина, Одесса, Крым, Кавказ, Нижнее Поволжье. Одесса, полуеврейский город, где не умеют правильно говорить по-русски, создает целую литературную школу.

До сих пор мы говорили об опасностях. Что можно противопоставить им, кроме нашей веры в Россию? Есть объективные факты, точки опоры для нашей национальной работы — правда, не более чем точки опоры, ибо без работы, скажу больше — без подвига, — России нам не спасти. Вот эти всем известные факты. Россия не Австралия и не старая Турция, где малая численно народность командовала над чужеродным большинством. И если Россия, с культурным ростом малых народностей, не может быть национальным монолитом, подобным Франции или Германии, то у великорусской народности есть гораздо более мощный этнический базис, чем у австрийских немцев; во-вторых, эта народность не только не уступает культурно другим, подвластным (случай Турции), но является носителем единственной великой культуры на территории государства. Остальные культуры, переживающие сейчас эру шовинистического угара — говоря совершенно объективно, — являются явлениями провинциального порядка, в большинстве случаев и вызванными к жизни оплодотворяющим воздействием культуры русской. В-третьих, национальная политика старой России, тяжкая для западных, культурных (ныне оторвавшихся) ее окраин — для Польши, для Финляндии, — была, в общем, справедлива, благодетельна на Востоке. Восток легко примирился с властью Белого царя, который не ломал насильственно его старины, не оскорблял его веры и давал ему место в просторном русском доме.

Из оставшихся в России народов прямая ненависть к великороссам встречается только у наших кровных братьев — малороссов, или украинцев. (И это самый болезненный вопрос новой России.) В-четвертых, большинство народов, населяющих Россию, как островки в русском море, не могут существовать отдельно от нее; другие, отделившись, неминуемо погибнут, поглощенные соседями. Там, где, как на Кавказе, живут десятки племен, раздираемых взаимной враждой, только справедливая рука суперарбитра может предотвратить кровавый взрыв, в котором неминуемо погибнут все ростки новой национальной жизни. Что касается Украины, то для нее роковым является соседство Польши, с которой ее связывают вековые исторические цепи. Украине объективно придется выбрать между Польшей и Россией, и отчасти от нас зависит, чтобы выбор был сделан не против старой общей родины. И, наконец, в-пятых, за нас действуют еще старые экономические связи, создающие из бывшей Империи, из нынешней СССР, единый хозяйственный организм. Разрыв его, конечно, возможен (пример: та же Австрия), но мучителен для всех участников хозяйственного общения. Силы экономической инерции действуют в пользу России.

Сумеет ли мы воспользоваться этими благоприятными шансами, это зависит уже от нас, то есть прежде всего от новых поколений, которые вступают в жизнь там, в Советской России, и в меньшей степени здесь, в изгнании.

Я не буду останавливаться здесь на политических условиях, совершенно бесспорных, русского возрождения. Таким неопределимым условием является создание национальной власти в России. Замечу лишь в скобках, что момент падения коммунистической диктатуры, освобождая национальные силы России, в то же время является и моментом величайшей опасности. Оно, несомненно, развяжет подавленные

ныне сепаратистские тенденции некоторых народов России, которые попытаются воспользоваться революцией для отторжения от России, опираясь на поддержку ее внешних врагов. Благополучный исход кризиса зависит от силы новой власти, ее политической зрелости и свободы от иностранного давления.

Здесь я остановлюсь лишь на духовной стороне нашей работы, на той, которая выпадает по преимуществу на долю интеллигенции. Говоря кратко: эта задача в том, чтобы будить в себе, растить и осмыслять, «возгревать» национальное сознание.

Наша эпоха уже не знает бессознательно-органической стихии народа. Эти источники культуры почти иссякли, эта «земля» перепахана и выпажана. И русский народ вступил в полосу рационализма, верит в книжку, в печатное слово, формирует (или уродует) свой облик с детских лет в школе, в обстановке искусственной культуры. Оттого так безмерно вырастает влияние интеллигенции (даже низшей по качеству, даже журналистики); оттого-то удаются и воплощаются в историческую жизнь новые, «умышленные», созданные интеллигенцией народы. Интеллигенция творит эти народы, так сказать, «по памяти»: собирая, оживляя давно умершие исторические воспоминания, воскрешая этнографический быт. Если школа и газета, с одной стороны, оказываются проводниками нивелирующей, разлагающей, космополитической культуры, то они же могут служить и уже служат орудием культуры творческой, национальной. Мы должны лишь выйти из своей беспечности и взять пример с кипучей страстной работы малых народов, работы их интеллигенции, из ничего, или почти из ничего, кующей национальные традиции. Наша традиция богата и славна, но она запылилась, потускнела в сознании последних поколений. Для одних затмилась прелестями Запада, для других — официальным и ложным образом России, для которого в искусстве — и не только в искусстве — типичен псевдорусский стиль Александра III. Мы должны изучать Россию, любовно вглядываться в ее черты, вырывать в ее земле закопанные клады.

Мы должны знать ее историю, любить ее героев, ценить и самые древние памятники ее литературы (первыми у нас никто не интересовался), особенно — ее искусством. Это великое искусство было открыто незадолго до войны.

Огромное большинство русской интеллигенции не имеет до сих пор понятия о его существовании. Но в нем дана объективная, говорящая и внешнему миру, мера русского гения.

Мы должны читать и уметь различать в иконописном житии живые лики русских святых, которые несут нам свои заветы, свое национальное понимание вечного христианства. Понять эти заветы не всегда легко, но мало кто задумывается над этим. Мы должны чтить и героев — строителей нашей земли, ее князей, царей и граждан, изучая летописи их борьбы, их трудов, учась на самых их ошибках и падениях, не в рабском подражании, но в свободном творчестве вдохновляясь подвигом предков. Мы должны знать живую Россию, ее природу, жизнь ее народов, их труд, их искусство, их верования и быт. И прежде всего мы должны знать Великороссию.

Наше национальное сознание должно быть сложным, в соответствии со сложной проблемой новой России (примитив губителен). Это сознание должно быть одновременно великорусским, русским и российским.

Я говорю здесь, обращаясь преимущественно к великороссам. Для малороссов, или украинцев, не потерявших сознание своей русскости, эта формула получит следующий вид: малорусское, русское, российское.

После всего сказанного выше ясна повелительная необходимость оживления, воскрешения Великороссии. Всякий взгляд в историческое прошлое России, всякое паломничество по ее следам приводит нас в Великороссию, на ее Север, где и поныне белеют стены великих монастырей, хранящих дивной красоты росписи, богословские «умозрение в красках», где в лесной глуши сохраняются и старинная утварь, и старинные поверия, и даже былинная поэзия; старые города (Углич, Вологда), древние монастыри (Кириллов, Ферапонтов) должны стать национальными музеями, центрами научно-

художественных экскурсий для всей России. Работа изучения святой древности, ведущаяся и в большевистской России, должна продолжаться с неослабевающей ревностью, вовлекая, захватывая своим энтузиазмом все народы России. Пусть не для нас одних Русский Север станет страной святых чудес, священной землей, подобно древней Элладе или средневековой Италии, зовущей пилигримов со всех концов земли. Для нас, русских и христиан, эта земля чудес вдвойне священна: почти каждая волость ее хранит память о подвижнике, спасавшемся в лесном безмолвии, о войне Сергиевой рати, молитвами державшей и спасавшей страдальческую Русь.

Но Русский Север не только музей, не только священное кладбище. По счастью, жизнь не покинула его. Его население — немногочисленное — крепко, трудолюбиво и зажиточно. Перед ним большие экономические возможности. Белое море и его промыслы обещают возрождение целому краю при научном использовании его богатств.

Московский промышленный район (здесь: Ярославль, Кострома) устоял в испытании революции. На этой земле «Святая Русь», святая старина бок о бок соседит с современными мануфактурами, рабочие поселки — с обителями учеников преподобного Сергия, своим соседством вызывая часто ощущение болезненного противоречия, но вместе с тем конкретно ставя перед нами насущную задачу нашего будущего: одухотворения православием технической природы современности.

Русский Север, Святая Русь в полноте своей жизни открывают свои сокровища, конечно, лишь православному взору: только для него подлинно живет и древняя икона, и народная песня, и даже вещественный осколок уходящего быта. Но, конечно, работа найдется и для неверующего, но любящего исследователя. Здесь понадобятся целые плеяды этнографов, искусствоведов, бытописателей — собирателей материалов. Самая работа над памятниками религиозной культуры не проходит даром для религиозного роста личности. Но лишь живой вере суждено построить из камней культуры храм живого духа.

От великоросского — к русскому. Это прежде всего проблема Украины. Проблема слишком сложная, чтобы здесь можно было коснуться ее более чем намеками. Но от правильного решения ее зависит самое бытие России. Задача эта для нас формулируется так: не только удержать Украину в теле России, но вместить и украинскую культуру в культуру русскую. Мы присутствуем при бурном и чрезвычайно опасном для нас процессе: зарождении нового украинского национального сознания, в сущности новой нации. Она еще не родилась окончательно, и ее судьбы еще не предопределены. Убить ее невозможно, но можно работать над тем, чтобы ее самосознание утверждало себя как особую форму русского самосознания. Южнорусское (малорусское) племя было первым создателем русского государства, заложило основы нашей национальной культуры и себя самого всегда именовало русским (до конца XIX века). Его судьба во многом зависит от того, будем ли мы (то есть великороссы) сознавать его близость или отталкиваться от него как от чужого. В последнем случае мы неизбежно его потеряем. Мы должны признать и непрестанно ощущать своими не только киевские летописи и мозаики киевских церквей, но украинское барокко, столь привившееся в Москве, и киевскую Академию, воспитавшую русскую Церковь, и Шевченко за то, что у него много общего с Гоголем, и украинскую песню, младшую сестру песни великорусской. Эта задача — приютить малоросские традиции в общерусскую культуру — прежде всего выпадает на долю южнорусских уроженцев, сохранивших верность России и любовь к Украине. Отдавая свои творческие силы Великороссии, мы должны уделить и Малой (древней матери нашей) России частицу сердца и понимания ее особого культурно-исторического пути. В борьбе с политическим самостийничеством, в обороне русской идеи и русского дела на Украине нельзя смешивать русское дело с великорусским и глушить ростки тоже русской (то есть малорусской) культуры. Та же самая русская идея на севере требует от нас некоторого сужения, краеведческого,

областнического углубления на юге — расширения, выхода за границу привычных нам великорусских форм.

И здесь, на охране единства Великой и Малой России, самой прочной связью между ними была и остается вера. Пусть разъединяет язык, разъединяет память и имя Москвы — соединят киевские святыни и монастыри северной Руси. До тех пор, пока не сделан непоправимый шаг и народ малорусский не ввергнут в унию или другую форму католицизирующего христианства, мы не утратим нашего братства. Разрываемые националистическими (и в то же время вульгарно-западническими) потоками идей, мы должны соединяться в религиозном возрождении. И сейчас подлинно живые религиозные силы Украины от русской Церкви себя не отделяют. От русского — к российскому. Россия — не Русь, но союз народов, объединившихся вокруг Руси. И народы эти уже не безгласны, но стремятся заглушить друг друга гулом нестройных голосов. Для многих из нас это все еще непривычно, мы с этим не можем примириться. Если не примиримся — то есть с многоголосностью, а не с нестройностью, — то и останемся в одной Великороссии, то есть России существовать не будет. Мы должны показать миру (после крушения стольких империй), что задача Империи, то есть сверхнационального государства, — разрешима. Более того — когда мир, устав от кровавого хаоса мелкоплеменной чересполосицы, востоскуется о единстве как предпосылке великой культуры, Россия должна дать образец, форму мирного сотрудничества народов, не под гнетом, а под водительством великой нации. Задача политиков — найти гибкие, но твердые формы этой связи, обеспечивающей каждой народности свободу развития в меру сил и зрелости. Задача культурных работников, каждого русского в том, чтобы расширить свое русское сознание (без ущерба для его «русскости») в сознание российское. Это значит воскресить в нем, в какой-то мере, духовный облик всех народов России. То в них ценно, что вечно, что может найти место в теле Вселенской Церкви. Всякое дело, творимое малым народом, как бы скромно оно ни было, всякое малое слово должны вложиться в русскую славу, в дело России. В наш век национальные самолюбия значат порою больше национальных интересов. Пусть каждый маленький народ, то есть его интеллигенция, не только не чувствует унижения от соприкосновения с национальным сознанием русских (великоросса), но и находит у него помощь и содействие своему национально-культурному делу. Было бы вреднейшей ошибкой презрительно отмахнуться от этих шовинистических интеллигенций и через головы их разговаривать с народом. Многие думают у нас сыграть на экономических интересах масс против «искусственных» национальных претензий интеллигенций. Рано или поздно народ весь будет интеллигенцией, и презрение к его духовным потребностям отомстит за себя. Конечно, духовные потребности приходится отличать от политических притязаний: в титуле московских царей и императоров всероссийских развертывался длинный свиток народов, подвластных их державе. Многоплеменность, многозвучность России не умаляла, но повышала ее славу. Национальное сознание новых народов Европы в этом отношении не разделяет гордости монархов, но Россия не может равняться с Францией или Германией: у нее особое призвание. Россия — не нация, но целый мир. Не разрешив своего призвания, сверхнационального, материкового, она погибнет — как Россия.

Объединение народов России не может твориться силой только религиозной идеи. Здесь верования не соединяют, а разъединяют нас. Но духовным притяжением для народов была и останется русская культура. Через нее они приобщаются к мировой цивилизации. Так это было в петербургский период Империи, так это должно остаться. Если народы России будут учиться не в Москве, не в Петербурге, а в Париже и в Берлине, тогда они не останутся с нами. На русскую интеллигенцию ложится тяжкая ответственность: не сдать своих культурных высот, идти неустанно, без отдыха, все к новым и новым достижениям. Уже не только для себя, для удовлетворения культурной жажды или профессиональных интересов, но и для национального дела России. Здесь не важна сама по себе культурная отрасль, профессия, — России нужны ученые и техники,

учителя и воины. Для всех один закон: квалификация, ее непрерывный рост в труде и подвижничестве. Если великороссы составляют 54% России, то русская интеллигенция должна выполнить не 54%, а гораздо более общероссийской культурной работы, чтобы сохранить за собой бесспорное водительство.

Время для нас грозное, тяжелое. Бесчисленные народы России рвутся к свету, к культуре. Среди «всех только великорусская интеллигенция, придавленная, разреженная искусственно, вытесняется с пути национального творчества... Молодое поколение варваризуется и в России, и в Зарубежье. Для него подчас, кажется, не под силу поднять культурную ношу отцов. Но надо не только поднять ее, но и нести дальше и выше, чем умели отцы. Ибо голос времени звучит неумолимо: «Всякое промедление — смерти подобно», как говаривал Петр Великий. Наши творческие силы еще не иссякли. Мы верим в наше призвание, не мириться с мыслью о гибели. Нам нужна лишь школа аскезы — культурной, творческой аскезы, без которой не создаются ни духовные, ни материальные ценности культуры.

Последние слова к христианам, к православным. Нельзя, разумеется, подчинить путь веры путям национальной жизни. Нет ничего гнуснее утилитарно-политического отношения к христианству. Но в православии дано нам религиозное освящение нации. Церковь благословляет наше национальное делание, при условии просветленности его Светом Христовым.

Но мы должны преодолеть в себе две слабости, которые до сих пор обеспложивают творческие силы христианской интеллигенции. Во-первых, мы должны отрешиться от привычной сращенности православия с политическими, культурными, бытовыми формами старого времени. Не считать идеалом православия реставрацию старины и найти в нем источник свободы для творческого отбора в старых сокровищах, для творческого созидания новой жизни. Вторая — в известной степени противоположная слабость — это индивидуализм личного религиозного пути. Для отрешенного, погруженного с собственный мир строя души не возникает и проблем национальной культуры, да и культуры вообще. Как первая школа духовной жизни, эта замкнутость души может быть законной, необходимой. Как традиция, как стиль целого поколения — это уже некое уродство, становящееся национальной пассивностью. В обстановке русской трагедии, в наш грозный исторический час, это направление (как направление) свидетельствует просто о недоразвитии христианской совести.

Если мы в эмиграции — и поскольку наши братья в России — преодолеем в себе эти слабости, эти болезни роста, то главное дело русского национального возрождения уже сделано. Ибо жизненность и крепость русского религиозного возрождения русской Церкви не подлежит сомнению. В ней, в русской Церкви, давно живое средоточие нашей национальной работы, источник вдохновляющих ее сил. Но нужно помнить, что для этой работы необходима сложная, опосредственная трансмиссия этих духовных сил, что в деле национального возрождения участвуют: Церковь, культура, государство. И здесь я останавливался преимущественно на втором члене, наиболее угрожаемом и наиболее сложном, связующем действие сил духовных с механизмом социальных потребностей.

На вопрос, поставленный в заглавии настоящей статьи: «Будет ли существовать Россия?», я не могу ответить простым успокоительным: «Будет!» Я отвечаю: «Это зависит от нас. Буди! Буди!».

## **Федерация и Россия**

Должна ли и может ли предполагаемая федерация народов включить Россию?

Самый вопрос этот получает разный смысл, смотря по тому, ставится ли он с точки зрения Запада или России. Для западноевропейца он означает колебание осторожности, старую привычку к постепенности, к умеренным решениям: сначала попробуем объединить Запад, народы своей культуры, прежде чем будем раздвигать границы

объединения на Восток. Всемирная федерация — это в плане утопии, европейская — в плане реальности. А Россия — в Европе ли?

С точки зрения русского, этот вопрос означает последнее убежище русского национализма. Объединяйтесь сами, если хотите. Может быть, Европа в самом деле переросла век национальных государств — особенно малых государств. Но Россия сама по себе целый союз народов, по территории — одна шестая света, не Европа, не Азия, а особый, себе довлеющий мир. Недавняя историософия евразийства приходит на помощь этому националистическому рефлексу, чтобы доказать, что Россия ни хозяйственно, ни культурно в Европе не нуждается.

В противность этому, мы готовы утверждать, что, как европейская федерация немыслима без России, так и культурная жизнь России немыслима без Европы.

Для Европы что проку в том, что она, покончив со своими вековыми распрями, разоружится и наладит мирное сожителство своих народов, если на Востоке она будет постоянно видеть перед собой стену штыков (или танков)? Сможет ли она вообще разоружиться, если Россия останется вооруженной? Как будут разрешаться конфликты, возникающие из территориальных, этнографических и стратегических отношений на западной границе России? Пусть Россия не чисто европейская держава. Но она, во всяком случае, и не чисто азиатская. На свое несчастье или счастье, она не имеет ни на Западе, ни на Востоке четких рубежей. Это предопределяет для нее необходимость политически жить в сложном мире как европейских, так и азиатских народов. Ее изоляция невозможна и нелепа. Еще в XVI веке, когда Москва культурно жила за искусственно созданной китайской стеной, политически она должна была войти в круг западных держав: искать дружбы с римским цесарем, с Данией, с Англией — хотя бы для того, чтобы обороняться от ближайших соседей-врагов. Балтийские, польские, даже балканские интересы России принадлежат не к искусственным «империалистическим» наростам на ее политике, а к органическим темам ее истории. Загнать в Азию Россию еще никому не удавалось, не удастся это и самим русским, если бы они того захотели. Оставаясь в Европе и давя на нее всей своей огромной тяжестью, Россия может быть или страшной для нее опасностью, или одним из существенных элементов ее равновесия. С Петра Великого Россия жила общей жизнью с Европой, не раз в критические часы истории — 1813, 1914 годы — помогала спастись в общей беде. Неужели Ленин мог одним разом переломить тысячелетнюю историю России? Что этого не случилось, доказывает сам его преемник своим неожиданным выходом за западные рубежи. При всей гибельности разбойных приемов Сталина, самое направление его интересов доказывает, что об изоляции России не может быть и речи. Она остается, как была, неразрывно связанной со всем комплексом восточноевропейских политических сил.

Впрочем, можно поставить и другой вопрос: о какой федерации идет речь? О европейской ли? Пока вопрос о федерации ставится чисто теоретически, ее можно ограничивать как угодно: Европой, Западной Европой — и в этом ограничении видеть признак благоразумия. В действительности, идея федерации принадлежит Англии. Но Англия, точнее Британская Империя, это не чисто европейское государство. Ее доминионы и колонии раскинуты по всем частям света. Одной шестой — СССР с его 170 миллионами — она может противопоставить одну четвертую и 450 миллионов. Если большая часть этого политического тела находится вне Европы, можно ли говорить о европейском характере федерации? Но Англия уже сейчас надеется на участие в ней Соединенных Штатов Америки. Лорд Лоти-ан, британский посланник в Вашингтоне, является одним из творцов этого замысла. Наконец, эта самая Британская Империя в целом ряде точек соприкасается, географически или политически, с азиатскими владениями России: на Дальнем Востоке, в Афганистане, в Персии, на Черном море. Здесь находится источник бесконечных конфликтов — или основа для договорных отношений. Как показал опыт русско-английского сближения при императоре Николае II, интересы двух мировых Империй не могут быть признаны непримиримыми. Англия будет

договариваться с Россией в Азии, как она будет договариваться с ней же (в союзе с Францией) в делах Восточной Европы. Но время простых разговоров прошло, как проходит и время вооруженных угроз. Наступает эпоха правового творчества, то есть властно обязывающих решений. Россия необходима для организации мира почти в такой же степени, как и Британская Империя.

Но нужна ли самой России организация мира, нужна ли России Европа?

Россия сейчас в ссоре с Европой. И не Сталин, конечно, первый рассорил их. В Сталине эта ненависть к Европе лишь созрела до дьявольского замысла: разжечь мировую войну, чтобы на пепелище Европы, среди пустынь былой христианской цивилизации, построить могущество русского красного царства. Но ссора началась задолго до Сталина и даже независимо от коммунизма. Ведь и коммунизм является, или являлся, гримасой русского европеизма, искажением русской боли за Европу. Ссора восходит к 1917 году и питается горечью русских унижений. Русское национальное чувство было уязвлено глубоко поражением, разделом, падением России и, не желая взять на себя ответственность, не имея мужества покаяния, стало искать виновника вне себя — на Западе, недавно еще связанном с Россией круговой порукой войны. Это извращение русской боли за Россию одним из первых выразил Блок в своих «Скифах», чудесные стихи которых должны были подсластить измену — не Западу, а самой русской идее: славянской, христианской, культурной традиции России. С тех пор русское скифство гуляет по ту и другую сторону рубежа. Оно совершенно подобно тому отречению от Европы, которое, на почве того же унижения и бессильной злобы, совершили две дочери уже западной (римской) Европы: Италия и Германия. В свете этих скифских настроений многим казалось, что Россия может жить как Россия и пережив Европу и что ей вообще незачем связывать свое будущее с обреченным миром.

Безумное ослепление, самоубийственная мысль!

Автаркия России может быть оправдываема, на худой конец, лишь экономически. Подобно Соединенным Штатам, российский материк представляет условия, почти удовлетворяющие требованиям хозяйственного самодовления. Но разве об этом сейчас речь?

Разве от экономической только неурядицы погибает мир? Но уже политическая автаркия России, как мы видели выше, является вредной утопией. И на Западе, и на Востоке Россия выросла всеми своими членами глубоко в другие политические миры. Ее нельзя оторвать от мировых силовых систем, как нельзя разрубить сиамских близнецов.

Что же сказать об автаркии культурной? О перспективах русского будущего в случае гибели Европы? Тяжело говорить об этом сложнейшем вопросе в нескольких строках. Но надо выразить свое убеждение, основанное на опыте тысячелетней истории. Вот оно. Россия и Запад имеют не совсем тождественные истоки; это определяет, вероятно навсегда, особенность двух христианских миров. Но и Византия, и Рим восходят к той же Греции. Это объясняет сравнительно легкую возможность общения и взаимного оплодотворения. Петровская Россия была не изменой — или не только изменой, — но и обретением собственной сущности в заимствованных формах культуры. Лишь благодаря Западу Россия могла выговорить свое слово. В своей московской традиции она не могла найти тех элементов духа (Логоса), без которых все творческие богатства останутся заколдованной грезой. С Европой она проснулась и, мужая, работая, борясь, до конца опиралась на опыт и разум западной сестры, которой уже начала щедро платить за науку. Ныне эта связь жестоко порвана вместе с истреблением целого культурного слоя, бывшего хранителя этой связи. Результатом было общее оскудение и опошление. Первым роковым признаком недуга было падение литературы — последний демонстрируется в лесах Финляндии, в разгроме русских дивизий.

С этой интерпретацией можно спорить, можно искать других причин русских поражений и русского упадка под коммунистической властью. Эти другие причины существуют, смешно было бы отрицать их. Думается только, что и после освобождения

России от сталинизма ей не жить цветущей культурной жизнью, если она сохранит китайскую стену, отделяющую ее от Запада, или если этот Запад погибнет как культурный мир.

Есть один элемент христианской культуры, нам всем дорогой, любовно выращенный в петербургский период нашей истории и теперь выкорчеванный без остатка. Это свобода, которая с таким трудом пробивалась в крепостнически-самодержавном царстве, но наконец сделалась неотъемлемой частью русской жизни. Эта свобода целиком выросла на почве западной культуры как результат сложного воздействия духовных сил. В византийско-московской традиции у нее не было никаких корней. В этом и состояла трагедия русского славянофильства и вообще русского национального свободолюбия. Вот почему с такой невероятной легкостью свобода могла быть выкорчевана из сознания русских масс, лишенных общения с внешним миром, принесших в марксистскую школу лишь древние инстинкты Московии. Коммунизм сгинет вместе со своими идеологическими катехизисами. Но Московия останется. Останется тоталитарное государство, крепкое не только полицейской силой, но и тысячелетними инстинктами рабства. Разбить его может лишь новый — столь же тоталитарный, то есть религиозный — идеал свободы, который некогда разложил и старую Московию. Но сейчас свобода жива лишь на христианском Западе и ведет отчаянную борьбу с обступившими ее силами тьмы. Война ведется не только на полях сражений, но и на всех участках культурного фронта: в искусстве, в философии, в теологии. От исхода этой борьбы зависит участь мира на много веков. От нее зависит и участь России. Судьбы России решаются на линии Мажино, в Атлантическом океане, в снегах Финляндии. Странно, дико сложилась история. Русские войска умирают за свое собственное рабство. Финны сражаются не только за свою свободу, но и за свободу России.

## Три столицы

Старая тяжба между Москвой и Петербургом становится вновь одной из самых острых проблем русской истории. Революция — столь богатая парадоксами — разрушила ее по-славянофильски. Впрочем, сама проблема со времени Хомякова и Белинского успела изменить свой смысл. Речь идет уже не о самобытности и Европе, а о Востоке и Западе в русской истории. Кремль — не символ национальной святыни, а форпост угнетенных народов Азии. Этому сдвигу истории соответствует сдвиг сознания: евразийство расширяет и упраздняет старое славянофильство. Но другой член антитезы — западничество — и в поражении своем сохраняет старый смысл. Дряхлеющий, зарастающий травой, лишенный имени, Петербург духовно живет своим отрицанием новой Москвы. Россия забывает о его существовании, но он еще таит огромные запасы духовной силы. Он все еще мучительно болеет о России и решает ее загадку: более, чем когда-либо, она для него сфинкс. Если прибавить, что почти вся зарубежная Россия — лишь оторванные члены России петербургской, то становится ясным: Москва и Петербург — еще не изжитая тема. Революция ставит ее по-новому и бросает новый свет на историю двухвекового спора.

### I

Как странно вспоминать теперь классические характеристики Петербурга из глубины николаевских годов: Петербург-чиновник, умеренно-либеральный, европейски просвещенный, внутренне черствый и пустой. Миллионы провинциалов, приезжающих на берега Невы обивать порот министерских канцелярий, до самого конца смотрели так па Петербург. Оттого и не жалеют о нем: немецкое пятно па русской карте. Уже война начала его разрушение. Похерила ненавистный «бург», эвакуировала Эрмитаж, скомпрометировала немецкую науку. Город форменных вицмундиров, уютных василеостровских немцев, шикарных иностранцев — революция слизнула его без остатка.

Но тогда и слепому стало ясно, что не этим жил Петербург. Кто посетил его в страшные смертные годы 1918—1920, тот видел, как вечность проступает сквозь тление. Разом провалилось куда-то «чрево» столицы. Бесчисленные доходные кубы, навороченные бездарными архитекторами четырех упадочных царствований, — исчезли с глаз, превратились в руины, в пещерное жилье доисторических людей. В городе, осиянном небывалыми зорями, остались одни дворцы и призраки. Истлевающая золотом Венеция и даже вечный Рим бледнеют перед величием умирающего Петербурга. Рим — Петербург! Рим опоясал Средиземное море кольцом греческих колонн, богов и мыслей. Рим наложил на южные народы легкие цепи латинских законов. Петербург воплотил мечты Палладио у полярного круга, замостил болота гранитом, разбросал греческие портики на тысячи верст среди северных берез и елей. К самоедам и чукчам донес отблеск греческого гения, прокаленного в кузнице русского духа. Кто усомнится в том, что Захаров самобытнее строителей римских форумов и что русское слово, раскованное Пушкиным, несет миру весть благодатнее, чем флейты Горация и медные трубы Вергилия?

Русское слово расторгло свой тысячелетний плен и будет жить. Но Петербург умер и не воскреснет. В его идее есть нечто изначально безумное, предопределяющее его гибель. Римские боги не живут среди «топи блат»; железо кесарей несет смерть православному царству. Здесь совершилось чудовищное насилие над природой и духом. Титан восстал против земли и неба и повис в пространстве на гранитной скале. Но на чем скала? Не на мечте ли? Петербург вобрал все мужское, все разумно-сознательное, все гордое и насильственное в душе России. Вне его осталась Русь, Москва, деревня, многострадальная земля, жена и мать, рождающая, согбенная в труде, неистощимая в слезах, не успевающая оплакивать детей своих, пожираемых титаном. Когда слезы все выплаканы, она послала ему проклятье. Бог услышал проклятье матери, «коня и всадника его ввергнул в море». При покорном безмолвии Руси что заполняет трагическим содержанием петербургский период? Борьба Империи с порожденной ею культурой, — еще резче: борьба Империи с Революцией. Это борьба отца с сыном, — и нетрудно узнать фамильные черты: тот же дух системы, «утопии», беспощадная последовательность, «западничество», отрыв от матери-земли. В революции слабее отцовские черты гуманизма, зато сильнее фанатические огоньки в глазах — отблески материнской веры, но, пожалуй, сильнее и тяга к ней, забытой, непонятой матери. Народничество — болезнь этой неутоленной сыновней любви. Отец не знает ни любви, ни тоски по ней. Он довольствуется законным обладанием. Размышляя об этой борьбе перед кумиром Фальконета, как не смутиться, не спросить себя: кто же здесь змей, кто змеборец? Царь ли сражает гидру революции, или революция сражает гидру царизма? Мы знаем земное лицо Петра — искаженное, дьявольское лицо, хранящее следы божественного замысла, столь легко восстанавливаемого искусством. Мы знаем лица революционеров — как лица архангелов, опаленные печалью. В жестокой схватке отца и сына стираются человеческие черты. Кажется, что не руки и ноги а змеиные кольца обвилились и давят друг друга, и яд истекает из разверстых пастей. Когда начиналась битва, трудно было решить: где демон, где ангел? Когда она кончилась, на земле корчились два звериных трупы.

Империя умерла, разложившись в невыносимом зловонии. Революция утонула в крови и грязи. Теперь нет города в России, где не было бы Музея Революции. Это верный признак ее смерти: она на кладбище. Дворцы царей — тоже музеи. Да и вся Европа превратилась в сплошной музей русской Империи — или, что одно и то же, в ее кладбище. Когда ходишь по Зимнему дворцу, превращенному в Музей Революции, или по Петропавловской крепости, то начинаешь уже путать: чьи это памятники и чьи гробницы — цареубийц или царей?

Ужасный город, бесчеловечный город! Природа и культура соединились здесь для того, чтобы подвергать неслыханным пыткам человеческие души и тела, выжимая под тяжким давлением прессов эссенцию духа. Небо без солнца, промозглая жижа под ногами, каменные колодцы дворов среди дворцов и тюрем — дома-гробы, с перспективой трясины

кладбища, — туберкулез и тиф, изможденные лица тюремных сидельцев... И закон жизни — считай минуты, секунды, беги, гори, колотись сердце, пока не замолчишь навсегда! Для пришельца из вольной России этот город казался адом. Он требовал отречения — от солнца, от земли, от радости. Умереть для счастья, чтобы родиться для творчества. Непримиимо враждебный всякому язычеству, невзирая на свои римские дворцы, он требовал жизни аскета и смерти мученика. Над каждым жильем поднимался дым от человеческих всеожжений. Если бы каждый дом здесь поведал все свое прошлое — хотя бы казенной мраморной доской, — прохожий был бы подавлен этой фабрикой мыслей, этим костром сердец. Только коренные петербуржцы — есть такая странная порода людей — умели как-то приспособиться к почве, создать быт, выработать защитный цвет души. Они острили над жизнью и смертью, уверенным мастерством заменяли кровь творчества — шлифовальщики камней, снобы безукоризненного. Спасибо мэтрам неряшливой, распушенной России, но не ими оправдываются граниты Невы и камни Петропавловской крепости. Провинциалы, умиравшие здесь, лучше их слышали голос Петербурга.

Да, этот город торопился жить, точно чувствовал скудные пределы отмеренного ему времени. Два столетия жизни, одно столетие мысли, немногим более сроков человеческой жизни! За это столетие нужно было, наверстывая молчание тысячи лет, сказать миру слово России. Что же удивительного, если, рожденное в муках агонии, это слово было часто горьким, болезненным? Аскетизм отречения Петербург простер до отречения от всех святынь: народа, России, Бога. Он не знал предела жертвы, и этот смертный грех искупил жертвенной смертью.

Россия приняла факел из его холодеющих рук. О, если бы он не потух на ветру ее степных дорог, не заглох под мерою косного, уютного быта, не разошелся на тысячи мелких свечечек!..

Что же может быть теперь Петербург для России? Не все его дворцы опустели, не везде потухла жизнь. Многие из этих дворцов до чердаков набиты книгами, картинами, статуями. Весь воздух здесь до такой степени надыхан испарениями человеческой мысли и творчества, что эта атмосфера не рассеивается целые десятилетия. Даже большевики, не останавливающиеся ни перед чем, не решились тронуть этих сокровищ из страха стен. Эти стены будут еще притягивать поколения мыслителей, созерцателей. Вечные мысли родятся в тишине закатного часа. Город культурных скитов и монастырей, подобно Афинам времени Прокла, — Петербург останется надолго обителью русской мысли.

Но выйдем из стен Академии на набережную. С Невы тянет влажный морской ветер — почти всегда западный ветер. Не одни наводнения несет он петровской столице, но и дух дальних странствий. Пройдитесь по последним линиям Васильевского острова или к устью Фонтанки, на Лоцманский островок, — и вы увидите просвет моря, отшвартовавший пароход, якоря и канаты, запах смолы и соли, — сердце дрогнет, как птица в неволе. Потянет вдаль, на чудесный Запад, омытый Океаном, туда, где цветут сады Гес-перид, где из лона волн возникают Острова Блаженных. Иногда шепчет искушение, что там уже нет ни одной живой души, что только мертвые блаженны. Все равно, тянет в страну призраков, «святых могил», неосуществленной мечты о свободной человечности. Тоска целых материков — Евразии — но Океану скопилась здесь, истекая узким каналом Невы в туманный, фантастический Балт. Оттого навстречу западным ветрам с моря дует вечный «западнический» ветер с суши. Петербург остается одним из легких великой страны, открытым западному ветру.

Не сменил ли он здесь, на Кронштадтской вахте, Великий Новгород? Мы в школе затвердили: «Шлиссельбург — Орешек», но только в последние годы с поразительной ясностью вскрыли в городе Петра города Александра Невского, князя Новгородского.

Революция, ударив всей тяжестью по Петербургу, разогнала все прошлое, наносное в нем, — и оказалось, к изумлению многих, что есть и глубоко почвенное: есть и православный Петроград, столица Северной Руси. Многие петербуржцы впервые (в поисках картошки!) исколесили свои уезды, и что же они нашли там? На предполагаемом

финском болоте русский суглинок, сосновый бор, тысячелетние поселки-погосты, народ, сохранивший в трех часах езды от столицы песни, поверья, богатую славянскую обрядность, чудесную резьбу своих изб, не уступающую вологодским... И среди этих изб Старая Ладога с варяжскими стенами, с древнейшей росписью, память о новгородских крепостях — Ям, Копорье, Ивангород, — о шведских могилах — следах вековой тяжбы племен. Ижорские деревни, эстонские хутора среди славянского моря говорят о глухой, но упорной этнографической борьбе, борьбе деревьев, сплетающихся ветвями в глухом лесу, отвоевывая у чужих пород каждую пядь почвы, каждый луч света. Когда бежали русские из опустелой столицы, вдруг заговорила было по-фински, по-эстонски петербургская улица. И стало жутко: не возвращается ли Ингерманландия, с гибелью дела Петрова, на берега Невы? Но нет, русская стихия победила, понажала из ближних и дальних уездов, даже губерний, возвращая жизнь и кровообращение в коченевшую Северную Коммуну. В ту пору отмирали кровеносные сосуды по всему телу России, и с особенной ясностью прощупывались естественные, географические связи. Петербуржцы чувствовали: Москва на краю света, Украина едва ли вообще существует, но близки, ощутимы Ладога, Новгород, Псков, Белозерск, Вологда. Пока мешочничал обыватель, искусствоведы, этнографы исколесили всю северо-восточную Русь, чьи говоры сливаются на питерских рынках, и связи эти не заглохнут.

В последние годы перед войной новгородские церковки и часовни одна за другой начали возникать по окраинам столицы — памятник новых художественных вкусов и древней народной религиозности. Интеллигенция почти не различала народного православного Петербурга, с его чудотворными иконами, живыми угодниками, накаленной — быть может, как нигде в России — атмосферой пламенной веры. Только скандалы хлыстов или братцев привлекали внимание. Теперь остатки старой интеллигенции вросли в этот народный церковный массив и внесли в него чистую пламенность новых культурных катакомб.

Есть верная молва, что в последние дни Оптиной пустыни один из ее старцев послал свое благословение Петрограду — «самому святому городу по всей России».

Богат и сложен Великий Новгород. Мы и сейчас не понимаем, как мог он совместить с буйным вечем молитвенный подвиг, с русской иконой ганзейский торг. Все противоречия, жившие в нем, воскресли в старом и новом Петербурге... Васья Буслаев предсказал уже нигилизм, как Садко, гусяр и купец, — вольнолюбивое, широкое творчество. Есть в наследстве Великого Новгорода завещанное Петербургу, чего не понять никому, кроме города Святого Петра. Первое — завет Александра — не сдавать Невской победы, оборонять от ливонцев (ныне финнов) и шведов невиские берега. Второе — хранить святыни Русского Севера, самое чистое и высокое в прошлом России. Третье — слушать голоса из-за моря, не теряя в виду ганзейских маяков. Запад, некогда спасший нас, потом едва не разложивший, должен войти своей справедливой долей в творчество национальной культуры. Не может быть безболезненной встреча этих двух стихий, и в Петербурге, на водоразделе их, она ощущается особенно мучительно. Но без их слияния — в вечной борьбе — не бывает русской культуры. И хотя вся страна призвана к этому подвигу, здесь, в Петербурге, слышна ее историческая задача, здесь остается если не мозг, то нервный узел России.

## II

Москва куда проще Петербурга, хотя куда пестрее его. Противоречия, живущие в ней, не раздражают, не мучают, как-то легко уживаются в народной полихромии. Каждый найдет в Москве свое, для себя, и если он в ней проезжий гость, то не может не почувствовать себя здесь совсем счастливым.

Многоцветность архитектурных одежд, слой за слоем, как луковицу, покрывает тело Москвы. На каждой печать эпохи — настоящая ярмарка стилей, разбросанная в зелени

садов под вольным небом и ласковым солнцем. Сама история утратила здесь свою трагическую тяжесть, лаская глаз пышностью декораций. За два века благодушного покоя развенчанная столица отвыкла от ответственности дела государева — и такую любил ее народ: безвластную и вольную, широкую и святую. Вероятно, Москва — сердце России, любовь ее не похожа на строгую царскую Москву, но новое чувство Москвы органически переработало памятки царского времени, утопив их в мягком свете благочестивых воспоминаний.

Революция пощадила тело Москвы, почти ничего не разрушив — и ничего не создав в ней. Она лишь искажила ее душу, вывернув наизнанку, вытряхнув дочиста ее особняки, наполнив ее пришлым, инородческим людом. С тех пор город живет как в лихорадке — только не красной. Стучат машинки, мчатся «форды», мелькают толстовки, механки, портфели. В кабаках разливанное море, в театрах балаганы. В учреждениях беличий бег в колесе. Ворочают камни Сизифы, распускают за ночь, что наткали за день, Пенелопы. Здесь рычаг, которым думали перевернуть мир и надорвались, нажив себе неврастению. Осталась кричащая реклама, порой талантливая, безусловно смелая, которая облепила Москву, кричит с плакатов, полотнищ, флагов, соблазняет в витринах окон, играет электрическими миражами в небе — «Нигде кроме, как в Моссельпроме...», «Пролетарии всех стран... покупайте облигации выигрышного займа!». Но ступите шаг от Тверской, от Никитской, и вы очутитесь в тихих, мирных переулочках, где редко встретишь прохожего, где гуляют на солнышке бабушка с внучкой, вспоминая минувшие дни. Все так же гудит золотой звон «сорока сороков», по-прежнему чист снег и ярки звезды, по-прежнему странно волнуют в сумерках башни и зубцы древних стен. На несколько часов Москва, как добрая, старая няня, баюкает истерзанного россиянина. За что Россия так любила Москву? За то, что узнавала в ней себя. Москва охраняла провинциальный уклад, совмещая его с роскошью и культурными благами столицы. Приезжий мещанин из Рыбинска, из Чухломы мог найти здесь привычный уют уездного трактира и торговых бань, одноэтажные домики, дворы, заросшие травой, где можно летом дуть самовар за самоваром, обливаясь потом и услаждаясь пением кенара или граммофоном, в зависимости от духа времени. Замоскворечье и сейчас огромный, провинциальный и едва ли не уездный город во всей его нетронутости. А чудесные дворянские усадьбы, с колоннами или без колонн, с мезонинами или без мезонинов, но непременно в мягком родном ампире — разве не кажутся перенесенными сюда прямо из глуши пензенских или тамбовских деревень? Хотите видеть теперь воочию, как жили в них поколения наших дедов? Пойдите в дом Хомяковых на Собачьей Площадке, где, кажется, ни один стул не тронут с места с 40-х годов. Какой тесный уют, какая очаровательная мелочность! Низкие потолки, диванчики, чубуки, бисерное бабушкино рукоделие — и полка с книгами: все больше немецкие романтики да любомудры. Если Бог убережет вас от экскурсии с «классовым подходом» и если вы еще не до конца растратили способность умиления, вы поймете здесь корни старого славянофильства.

Да и не только славянофильства. Весь вклад Москвы в культуру двух истекающих столетий таков: неотделим от культуры русских дворянских усадеб и провинциальных иерейских домов. На нем лежит печать светлой наивности, доброй здоровой лени. Здесь нет ни грана петербургского излома, мучительства — зато нет и мучительной напряженности подвига. Свободная от тяжести власти, Москва жалела Россию, как жалуют отсталого, но милого ребенка, не имея сил принуждать его к учению. Оттесняемая Петербургом, Москва не злобствовала, но пребывала — два столетия — в лояльнейшей, кротчайшей оппозиции. Москва по сердцу — не по идеям — всегда была либеральной. Не революция, не реакция, а особое московское просвещенное охранение. Забелины, Самарины, Шиповы до последних лет отрицали «средостение», мечтая о Земском Соборе и о Земском царе. Здесь либералы были православны, чуть-чуть толстовцы. Здесь Ключевский был гостем «Русской мысли» и ходил церковным старостой. Здесь именитое

купечество с равной готовностью жертвовало на богадельни, театры и на партию большевиков.

Эта милая обывательская Москва не воскреснет. Лихорадящий Петербург и обломовская Москва — дорогие покойники. Но за последнее человеческое поколение Москва необычайно росла и менялась, явно готовясь снова стать духовной столицей России. Новая промышленная, купеческая Москва покрылась небоскребами, передовыми театрами, музеями, щедро, по-царски обставив новую русскую культуру. Москва сравнялась с Петербургом как центр научный и обогнала его как центр художественный. Здесь сложилась и крепла русская философская школа, здесь культивировались самые левые направления в живописи. Щукин и Морозов ограбили Париж, Мясницкая старалась обскákat Монпарнас. Кабацкая Москва, ориентируясь на Монмартр, вещала самоновейшие слова. Все это было буйно, но молодо, всегда пленяло здоровьем, если не вкусом. По сравнению с Петербургом, здесь можно было скорее встретить «почти гениальное», но никогда — безукоризненное. Новая Москва работала широко, торопливо и не любила доделывать до конца. Философы без метода, блещущие афоризмами, художники, побивающие рекорды квадратных аршин... Москва все еще жила слишком привольно и слишком безответственно. Почти на всех ее созданиях лежал отпечаток порою милого, порою претенциозного безвкусия.

Новая большевистская Москва уродливо продолжает эту «метропольно»-кабацкую традицию. Современное творчество Москвы так же относится к дореволюционному, как дутый нэп — к размашистому индустриализму довоенных годов. И это на фоне все той же безответственности. Политическая мысль Кремля столь же далека Москве, как была далека государственная мысль Петербурга.

И все же основное русло нашей культуры пролегает именно здесь. Сюда несет свои воды русская провинция — особенно юг и восток. Здесь верят в будущее, захлебываются настоящим — пусть по-дурацки — и не в силах вырваться из власти прошлого. Здесь стены слишком насыщены воспоминаниями, чтобы ультрамодерные жильцы могли уцелеть от их заразы. Мечтающая стать Америкой Москва в плену декоративных чар XVII века. Москва — модерн, может быть, более Москвы ампирной... Метрополь на фоне Китай-города понятнее Большого театра. И это ставит вопрос о качестве культуры древней Москвы.

Что говорят нам фасады и купола ее бесчисленных церквей? Конструктивно перенесенный в камень северный шатер да владимирский куб, отяжелевший, огрузневший, с пышно изогнутой восточной луковицей. Нет новых идей, нет и строгости завершений. Нет ничего, что взволновало бы присутствием подлинно великого искусства. В Москве есть несколько чудесных церквей. Но ведь и очарование на-рышкинского стиля только в его декоративности. О, в декоративном чутье нельзя отказать Москве! Архитектурно бессмысленная идея Василия Блаженного разрешена с удивительным мастерством. Самые грузные и грубые формы согреты и оживлены яркой живописностью. Чтобы вполне оценить декоративный эффект лубочного искусства в его ансамбле, нужно видеть Троицкую Лавру. Когда я пишу эти строки, я пытаюсь с усилием оторваться от того лирического наваждения, перед которым бессилён в Москве. Хочется целовать эти камни и благославлять Бога за то, что они все еще стоят. Но, вдумываясь, вижу, что это художественное впечатление неглубоко, что его идея бедна. Как назвать ее? умилением? — нет. Стоит увидеть эти формы хотя бы в недалеком Угличе, где еще чувствуется дыхание Севера, чтобы понять, каков может быть чисто религиозный смысл этого искусства. Московские кокошники, барабаны, крыльца, как пасхи и колокольни — как пасхальный стол с куличами и крашеными яйцами... Веселый трезвон, кумачовые рубахи, шапки набекрень, гулящая, веселящаяся Русь. Это идеал великорусской нарядной праздничности. Очевидно, в Москве мы видим пышный закат великого и строгого древнерусского искусства. Непонимание этого факта натворило уже много бед делу

нашего национального возрождения. Подражать Москве — значит обрекать себя на педантическую пошлость: таково русское «возрождение» Александра III.

Беда Москвы в том, что искусство ее слишком неполно выражает ее историческую идею. В нем сказалась показная пышность царской власти да бытовая праздничная сторона уже оплотневающей народной религиозности. Где же искать нам величие старой Москвы?

Попробуем подойти к Кремлю. Отрешимся от мишуры «николаевской готики», от шума людных площадей, от отступивших небоскребов новой Москвы, — обойдем, лучше всего ночью, окружность его стен и башен — и, может быть, тогда за лубочной декоративностью Кремля мы почувствуем тяжкую мощь. А если вообразим себе старую, деревянную («васнецовскую») Москву с ее лабиринтом клетей и теремов, то эта каменная твердыня, словно орел, упавший с облаков в сердце нищей России, покажется грозным чудом. Тени Ивана III и Ивана IV встают над древними стенами, столько раз облитыми кровью — врагов России и царских недругов. Набеги ханов, казни опричнины, поляки в Кремле — всю трагическую повесть Москвы читаем мы на стенах Кремля, повесть о нечеловеческой воле, о жестокой борьбе, о надрыве. Недаром Грозный, Годунов просятся в шекспировскую хронику. Дух тиранов Ренессанса, последних Медичи и Валуа, живет в кремлевском дворце, под византийско-татарской тяжестью золотых одежд. Грозные цари взнуздали, измучили Русь, но не дали ей развалиться, расползтись по безбрежным просторам.

Обойдите когда-нибудь в летний день кольцо южных московских монастырей-сторожей: Донской, Данилов, Симонов. Поднимитесь на гигантскую колокольню Симонова и, окинув взглядом бескрайнюю равнину, вы поймете географический смысл Москвы и ее историческое призвание. Северная лесная Русь, со своими соснами, остатками некогда дремучих лесов, добегают до самого города, защищает его, создает ему надежный тыл. Москва питается северной Русью, ее духовными силами, ее трудовой энергией, но, чувствуя ее за плечами, она смотрит — на юг и восток. Эти колокольни-крепости вглядываются зорко в безлесную (ныне) равнину, по которой расходятся ленты дорог: на Калугу — Смоленск, Коломну — Рязань, на Нижний, Саратов. Здесь, за Ордынкой, пролегалла дорога в Орду. Отсюда ждали крымчаков. Степь набегала в вихре пыли, в пожарах деревень, чтобы разбиться у московских стен. И отсюда Москва посылает рой за роем своих стрельцов и детей боярских в остроги на Дикое Поле, в вечной борьбе со степью.

Но странная эта борьба: она как будто чужда ненависти. Овладевая степью, Русь начинает ее любить; она находит здесь новую родину. Волга, татарская река, становится ее «матушкой», «кормилицей». Здесь, в Москве, до Волги рукой подать: до Рыбинска, до Ярославля, до Нижнего. Порою кажется, что Москва сама стоит на Волге. То, что Москва сжала в тройном кольце своих белых стен, то Волга развернула на тысячи верст. Умилие угличских и костромских куполов, крепкую силу раскольничьего Керженца, буйную волю Нижнего, Казани, Саратова, разбойничью жуть Жигулей, тоску степных курганов, поросших полынью, и раскаленное море мертвых песков — ворота Азии. В сущности, Азия предчувствуется уже в Москве. Европейец, посетивший ее впервые, и русский, возвращающийся в нее из скитаний по Западу, остро пронзены азиатской душой Москвы. Пусть не святые и дикие, но вечно родные степи — колыбель новой русской души. В степях сложилось казачество (даже имя татарское), которое своей разбойной удалью подарило Руси Дон и Кавказ, Урал и пол-Азии. В степях сложился и русский характер, о котором мы говорим всегда как о чем-то исконном и вечном. Ширь русской природы и ее безволие, безудержность, порывистость — и тоска, тяжесть и жестокость. Ненависть к рубежам и страсть к безбрежному. Тройка («и какой же русский не любит быстрой езды!»), кутежи, цыганские песни, «бессмысленный русский бунт», и мученический подвиг, и надрыв труда. В природе Азии живет дух тяжести. Туран-скую безблагодатную стихию он гнетет к земле, то зажигая пожарами страстей, то погружая в дремотную лень.

Для религиозного гения славян дух тяжести — тема творческого преодоления, как грудь земли для пахаря. Микула поднимает «тягу земную», которую не поднять удалому и хитрому витязю. В этом — тема русского творчества. Старая Москва не смогла художественно осмыслить свое призвание. Это сделал Толстой, в котором воплотился гений Москвы, как в Достоевском — гений Петербурга.

Ныне тяжесть государственного строительства России опять ложится на плечи Москвы. Конец двухвековому покою и гениальному баловству. На милое лицо Москвы ляжет трагическая складка, наследие освобожденного Петербурга. Теперь Москва настороже — и как должны быть зорки ее глаза, как чутки и напряжены ее нервы! Все, что творится на далеких рубежах, в Персии, в Китае, у подошвы Памира, — все будет отдаваться в Кремле. С утратой западных областей Восток всецело приковывает к себе ее творческие силы. Москва призвана руководить подъемом целых материков. Ее долг — просветлять христианским славянским сознанием туранскую тяжелую стихию в любовной борьбе, в учительстве, в свободной гегемонии. Да не ослабевает она в этом подвиге, да не склонится долу, побежденная — уже кровным и потому страшным — духом тяжести.

### III

Западнический соблазн Петербурга и азиатский соблазн Москвы — два неизбежных срыва России, преодолеваемых живым национальным духом. В соблазнах крепнет сила. Из немощей родится богатство. Было бы только третье, куда обращается в своих колебаниях стрелка духа. Этим полюсом, неподвижной православной вехой в судьбе России является Киев, то есть идея Киева.

О Киеве кажется странным говорить в наше время. Мы сами в недавнем прошлом с легкостью отрекались от киевской славы и бесславия, ведя свой род с Оки и с Волги. Мы сами отдали Украину Грушевскому и подготовили самостийников. Стоял ли Киев когда-нибудь в центре нашей мысли, нашей любви? Поразительный факт: новая русская литература прошла совершенно мимо Киева. Ничего, кроме «Печерских антиков» да слабого стихотворения Хомякова. А народ русский во все века своего существования видел в Киеве величайшую святыню, не уставал паломничать к нему и в былинах, говорят, очень поздних, славил чудный город и его светлого князя.

Для северянина Киев не только святыня, но и город, прекраснейший из всех городов русских. И прекраснейший вовсе не башнями храмов, не золотом куполов, а первозданной красотой Божьего мира, которая открывается здесь превыше всех памятников человеческих. С холмов старого Киева, Печерска, Цековицы — отовсюду выступает из зелени лазурная бескрайняя ширь, от которой дух захватывает. Кажется, что не стоит человек такой красоты, что не перенести человеку надолго такой красоты. Понятно, что от нее зарывались в пещеры из простого самосохранения. Или только измученной великорусской душе не по силам сияющая осанна земного рая? И потому прошел мимо нее северный поэт, принимающий красоту только в аскетической строгости. Впрочем, что могло бы прибавить здесь человеческое слово, когда земля уже сказала все? Изумительная особенность киевского городского пейзажа — это вторжение в него природы, почти не тронутой человеком. Над людным Подолом, над старыми — с ярославских времен — «Гончарами» и «Кожемяками» высятся необитаемые, обрывистые холмы, по которым карабкаются козы. Монастырь на Киселевке, кладбище на Цековице не нарушают тихого сельского характера этих урочищ. Эти просторы манят вдаль, во все стороны света, — трудно засидеться здесь на горах: на запад, к Карпатам и к Польше, теперь уже недалеко, на восток, сквозь черниговские леса, на Москву и больше всего, конечно, на юг, куда змеится серебряная лента Днепра, — за пороги, к степям половецким, к Черному, «Русскому» морю, к святой Греции.

Сколько народу проходило по этим холмам, сколько культур осаживалось здесь! Нигде в России не топчешь почвы, столь насыщенной обломками древности. Человек

каменного века уже облюбовал эти холмы, где гнезился в пещерах по их склонам. Если у вас есть чувство времени, которое в Киеве волнует так же, как пространство, зайдите в богатый Археологический музей поудивиться останками множества народов, наших предков на Киевской земле. Киммерийцы, скифы, люди, не имеющие имени для нас... И среди них, древнее всяких скифов, те таинственные «трипольцы», которые обжигали здесь горшки на своих «площадках», прежде чем спустились на Балканы, чтобы строить по берегам архипелага Эгейскую культуру. Уже позволительно думать, что Киевские горы были родиной будущих эллинов. С этих холмов, с черепками в руках, может быть, легче, чем где бы то ни было, обозреть древнейшую историю Европы. Как в Риме, чувствуешь здесь святость почвы, но насколько глубже уводят здесь воспоминания в седую древность!

Я не обмолвился: это предки наши, не прохожие гости. Мы носим их память в крови, в языке, в быту. Вспомним вклад скифов в наш словарь, греческие формы малороссийской посуды, азиатский орнамент украинских ковров. Недавно в армянском фольклоре Н.Я.Мартынов отыскал легенду о Кие, Щеке и Хориве и сестре их Лыбеди — с тождеством самих имен, и вероятным становится незапамятно-древнее, «яфетическое» ее происхождение.

Но все это спит под землей, на земле же идет и поныне борьба двух культур: византийско-русской и польско-украинской. На фасадах древних церквей археолог читает летопись этой борьбы, но отчетливы и центры культур. Киев с чрезвычайной легкостью срывался со старых насиженных мест с каждым переломом своей бурной истории. Русский княжеский город на старейшем холме (Кия?), украинский Подол с польской крепостью (разрушенной) на Киселевке, русский правительственный центр на Печерске и современный, всего более еврейский, город — Киев, с упадком Одессы, столицы русского еврейства, слившийся старые островки и раздавшийся по плоскогорью.

Живописен украинский Киев, нарядно и мило его провинциальное барокко на мазепинском Никольском соборе, — увы, безжалостно изрешечено ядрами гражданской войны, — это барокко не лишено и благородства. На Подоле обступает рой почтенных воспоминаний: магистрат с маг-дебургскими вольностями, Академия Петра Могилы — бурсаки со своими виршами, латынью и сомнительной «философией». Но тут же упраздненный доминиканский монастырь напоминает, что мы в польской провинции: словно в захолустном углу Галиции, куда сквозь толщу Восточной Европы доносятся отголоски итальянского и немецкого Возрождения. Стойко борются с ополячением, но не могут спастись от полонизмов: в архитектуре, в языке, в богословии. Весь излом современного украинского возрождения уже дан в этом возрождении XVII века: Малороссия осознает себя как мятежная Украина, окраина Польши.

Любуясь широкими выкрутасами киевского барокко, как не подосадовать, когда оно облепило, точно слоем жира, стройные, скромные стены княжеских храмов? Как ни дороги воспоминания о национальном пробуждении Украины-Малороссии, они исчезают перед памятью о единственной великой эпохе киевской славы. В этой славе все исчезает. Бесчисленные народы, проходившие по этим горам, культуры, сменявшие друг друга, имели один смысл и цель: здесь воссиял крест Первозванного, здесь упало на славяно-варяжские терема золотое небо святой Софии. И этого нам не забыть, пока стоит Русь. Впрочем, в Киеве об этом забыть невозможно. Северянин-великоросс, привыкший к более скромным историческим глубинам, не верит глазам своим, видя, в какой сохранности и блеске встречает его византийский и княжеский Киев. Спас на Берестове, Кириллов, Выдубицкий, Михайлов-Златоверхий монастыри — стоят, вплоть до самых куполов своих, — с XI или XII века, лишь снаружи приукрашенные не в меру ревностной рукой современников Могилы и Мазепы. И венец всему — неповрежденная внутри, девственно чистая святая София.

Может быть, южно-русский домонгольский храм, гармоничный и стройный, не является еще совершенным образцом русской идеи храма, достигнутым на Владимирском

и Новгородском севере. Но в святой Софии — едва ли не единственный раз на русской земле — воплотилась идея греческая. Я говорю не о знаменитых мозаиках ее и их религиозной символике, но о самом пространстве. Здесь земля легко и радостно возносится к небу в движении четырех столпов, и свод небесный спускается ей навстречу, любовно объемля крылами парусов своих. Здесь все полно завершенным покоем, достигнутой мерой, свободой в законе, бесконечностью, замкнутой в круг. Тем, кто не видел иной, великой святой Софии, кажется, что лучше не выразить в камне самой идеи православия.

Большинство киевских мозаик — как, впрочем, и римских — не представляют самых совершенных образцов византийского искусства, хотя по богатству и сохранности своей делают Киев одним из главных центров его изучения. Но в последние годы — под слоем известки — в Софийском соборе, в Спасе на Берестове — вскрыли ряд фресок-икон, выполненных в духе поразительного архаизма. С ними в Киеве чувствуешь себя на почве древнейшего христианского искусства — как в *Santa Maria Antiqua* или перед лицом энкаустических икон, словно недаром вывезенных с Синая в Киев как редчайшая драгоценность епископом Порфирием. Здесь заря русского христианства встречается с зарей христианства восточного, сочетающего в искусстве своем заветы эллинизма и Азии.

Мы знаем, что русский Киев лишь очень мало использовал культурные возможности, которые открывала ему сыновняя связь с матерью — Грецией. Говорят, что он даже торопился оборвать и церковные связи, рано утверждая свою славяно-русскую самобытность. Захлестнутый туранской волной, он не сумел создать во всей чистоте на счастливом юге очагов и русской культуры. Но в куполе святой Софии был дан ему вечный символ — не только ему, но и всей грядущей России.

О чем говорит этот символ?

Не только о вечной истине православия, о совершенной сфере, объемлющей в себе многообразие национально-частных миров. В нем дано указание и нашего особого пути среди христианских народов мира.

В жизни России было немало болезненных уклонов. В Москве нам угрожала опасность оторваться от вселенской жизни в гордом самодовлении, в Петербурге — раствориться в романской, то есть латинской по своему корню, цивилизации. Теперь нам указывают на Азию и проповедуют ненависть к латинству. Но истинный путь дан в Киеве: не латинство, не басурманство, а эллинство. Наш дикий черенок привит к стволу христианского человечества именно в греческой ветви его, и это не может быть незначашей случайностью.

Культура народа вырастает из религиозных корней, и какие бы пышные побеги и плоды ни приносило славянорусское или турано-русское дерево, оно пьет соки земли христианской через восточно-греческие корни. Но религия не живет вне конкретной плоти — культа, культуры, — и вместе с греческим христианством мы приобщились и к греческой культуре. Как германство — хочет оно этого или не хочет — не может, не убивая себя, разорвать связи с латинским гением, так православная Русь не может отречься от Греции. В глубине христианской Греции-Византии живет Греция классическая, созревающая ко Христу, а ее-то драгоценный дар принадлежит нам по праву как первенцам и законным наследникам. Неизбежный для России путь приобщения к Ренессансу не был бы для нас столь болезненным, если бы мы пили его воды из чистых ключей Греции. Романо-германское, то есть латинское, посредничество определило раскол нашей национальной жизни, к счастью, уже изживаемый. Но безумием было бы думать, что духовная жизнь России может расти на «диком корню» какой-либо славянской или туранской исключительности. Великое счастье наше и незаслуженный дар Божий — то, что мы приняли истину в ее вселенском средоточии. Именно в Греции и больше нигде связываются в один узел все пути мира. Рим — ее младший брат и духовный сын, ей обязанный лучшим в себе. Восток и на заре, и на закате его истории — и в Микенах, и в Византии — обогащает своей глубиной и остротой ее безукоризненную

мерность, залог православия. Чем дальше, тем больше мы открываем в эллинизме даров Востока. Нам не страшен ни Восток, ни Запад. Весь мир обещан нам по праву, нет истины, нет красоты, которой бы не нашлось места во вселенском храме. Но каждому камню укажет место и меру тот зодчий, который подвесил в небе «на золотых цепях» купол святой Софии.

## Россия и свобода

### 1

Сейчас нет мучительнее вопроса, чем вопрос о свободе в России. Не в том, конечно, смысле, существует ли она в СССР, — об этом могут задумываться только иностранцы, и то слишком невежественные. Но в том, возможно ли ее возрождение там после победоносной войны, мы думаем все сейчас — и искренние демократы, и полуфашистские попутчики. Только прямые черносотенцы, воспитанные в разных «Союзах русского народа», чувствуют себя счастливыми в Москве Ивана Грозного. Большинство среди апологетов московской диктатуры — вчерашние социалисты и либералы — убаюкивают свою совесть уверенностью в неизбежном и скором освобождении России. Чаемая эволюция советской власти позволяет им принимать с легким сердцем, а то и с ликованием, порабощение все новых народов Европы. Можно потерпеть несколько лет угнетения, чтобы впоследствии жить полноправными участниками самого свободного и счастливого общества в мире.

С другой стороны, прошлое России как будто не дает оснований для оптимизма. В течение многих веков Россия была самой деспотической монархией в Европе. Ее конституционный — и какой хилый! — режим длился всего одиннадцать лет; ее демократия — и то скорее в смысле провозглашения принципов, чем их осуществления — каких-нибудь восемь месяцев. Едва освободившись от царя, народ, пусть недобровольно и не без борьбы, подчинился новой тирании, по сравнению с которой царская Россия кажется раем свободы. При таких условиях можно понять иностранцев или русских евразийцев, которые приходят к выводу, что Россия органически порождает деспотизм — или фашистскую «демотию» — из своего национального духа или своей геополитической судьбы; более того, в деспотизме всего легче осуществляет свое историческое призвание.

Обязаны ли мы выбирать между этими крайними утверждениями: твердой верой или твердым неверием в русскую свободу? Мы принадлежим к тем людям, которые страстно жаждут свободного и мирного завершения русской революции. Но уже давно горький опыт жизни приучил нас не смешивать своих желаний с действительностью. Не разделяя доктрины исторического детерминизма, мы допускаем возможность выбора между разными вариантами исторического пути народов. Но с другой стороны, власть прошлого, тяжелый или благодетельный груз традиций, эту свободу выбора чрезвычайно ограничивает. Ныне, когда после революционного полета в неизвестность Россия возвращается на свои исторические колеи, ее прошлое, более, чем это казалось вчера, чревато будущим. Не мечтая пророчествовать, можно пытаться разбирать неясные черты грядущего в тусклом зеркале истории.

### 2

В настоящее время не много найдется историков, которые верили бы во всеобщие законы развития народов. С расширением нашего культурного горизонта возобладало представление о многообразии культурных типов. В своей статье в № 8 «Нового журнала» я старался показать, что лишь один из них — христианский, западноевропейский — породил в своих недрах свободу в современном смысле слова — в том смысле, в котором она сейчас угрожает исчезнуть из мира. Не буду возвращаться к этой теме. Сегодня нас интересует Россия. Ответить на вопрос о судьбе свободы в России почти то же, что решить, принадлежит ли Россия к кругу народов западной культуры; до такой степени

понятие этой культуры и свободы совпадают в своем объеме. Если не Запад — то, значит, Восток? Или нечто совсем особое, отличное от Запада и Востока? Если же Восток, то в каком смысле Восток?

Восток, о котором идет речь всегда, когда его противопоставляют Западу, есть преемство переднеазиатских культур, идущих непрерывно от сумеро-аккадской древности до современного ислама. Древние греки боролись с ним, как с Персией, побеждали его, но и отступали перед ним духовно, пока, в эпоху Византии, не подчинились ему. Западное средневековье сражалось с ним и училось у него в лице арабов. Русь имела дело сперва с иранскими, потом с татарскими (тюркскими) окраинами того же Востока, который в то же самое время не только влиял, но и прямо воспитывал ее в лице Византии. Русь знала Восток в двух обликах: «поганом» (языческом) и православном. Но Русь создавалась на периферии двух культурных миров: Востока и Запада. Ее отношения с ними складывались весьма сложно: в борьбе на оба фронта, против «латинства» и против «поганства», она искала союзников то в том, то в другом. Если она утверждала свое своеобразие, то чаще подразумевая под ним свое православно-византийское наследие; но последнее тоже было сложным. Византийское православие было, конечно, ориентализированным христианством, но прежде всего оно было христианством; кроме того, с этим христианством связана изрядная доля греко-римской традиции. И религия, и эта традиция роднили Русь с христианским Западом даже тогда, когда она не хотела и слышать об этом родстве.

В тысячелетней истории России явственно различаются четыре формы развития основной русской темы: Запад — Восток. Сперва в Киеве мы видим Русь свободно воспринимающей культурные воздействия Византии, Запада и Востока. Время монгольского ига есть время искусственной изоляции и мучительного выбора между Западом и Востоком (Литва и Орда). Москва представляется государством и обществом существенно восточного типа, который, однако же, скоро (в XVII веке) начинает искать сближения с Западом. Новая эпоха — от Петра до Ленина — представляет, разумеется, торжество западной цивилизации на территории Российской Империи.

В настоящей статье мы рассматриваем лишь один аспект этой западно-восточной темы: судьбу свободы в Древней Руси, в России и в СССР.

### 3

В Киевскую эпоху Русь имела все предпосылки, из которых на Западе в те времена исходили первые побеги свободы.

Ее Церковь была независима от государства, и государство, полуфеодалного типа — иного, чем на Западе, — было так же децентрализовано, так же лишено суверенитета.

Христианство пришло к нам из Византии и, казалось бы, византизм во всех смыслах, в том числе и политическом, был уготован как естественная форма молодой русской нации. Но византизм есть тоталитарная культура, с сакральным характером государственной власти, крепко держащей Церковь в своей не слишком мягкой опеке. Византизм исключает всякую возможность зарождения свободы в своих недрах.

К счастью, византизм не мог воплотиться в киевском обществе, где для него отсутствовали все социальные предпосылки. Здесь не было не только императора (царя), но и короля (или даже великого князя), который мог бы притязать на власть над Церковью. Церковь и на Руси имела своего царя, своего помазанника, но этот царь - жил в Константинополе. Его имя было для восточных славян идеальным символом единства православного мира — не больше. Сами греки-митрополиты, подданные Византии, менее всего думали о перенесении на князей варварских народов высокого царского достоинства. Царь — император — один во всей вселенной. Вот почему церковная проповедь богоустановленности власти еще не сообщала ей ни сакрального, ни абсолютного характера. Церковь не смешивалась с государством и стояла высоко над ним. Поэтому она могла требовать у носителей княжеской власти подчинения некоторым идеальным началам не только в личной, но и в политической жизни: верности договорам,

миролюбия, справедливости. Преп. Феодосий бесстрашно обличал князя узурпатора, а митрополит Никифор мог заявлять князьям: «Мы поставлены от Бога унимать вас от кровопролития».

Эта свобода Церкви была возможна прежде всего потому, что русская Церковь не была еще национальной, «автокефальной», но сознавала себя частью греческой Церкви. Ее верховный иерарх жил в Константинополе, не доступный для покушений местных князей. Перед вселенским патриархом смирялся и Андрей Боголюбский.

Важно, конечно, и другое. Древнерусский князь не воплощал полноты власти. Он должен был делить ее и с боярством, и с дружиной, и с вечем. Менее всего он мог считать себя хозяином своей земли. К тому же он и менял ее слишком часто. При таких условиях оказалось возможным даже создание в Новгороде единственной в своем роде Православной демократии. С точки зрения свободы, существенно не верховенство народного собрания. Само по себе вече ничуть не более князя обеспечивало свободу личности. На своих мятежных сходках оно подчас своевольно и капризно расправлялось и с жизнью, и с собственностью сограждан. Но само разделение властей, идущее в Новгороде далее, чем где-либо, между князем, «господой», вечем и «владыкой» давало здесь больше возможностей личной свободы. Оттого такой вольной рисуется нам, сквозь дымку столетий, жизнь в древнем русском народоправстве.

В течение всех этих веков Русь жила общей жизнью, хотя скоро и разделенная религиозно, с восточной окраиной «латинского» мира: Польша, Венгрия, Чехия и Германия, скандинавские страны далеко не всегда враги, но часто союзники, родичи русских князей — особенно в Галиче и Новгороде. Основное христианское и культурное единство их с восточным славянством не забыто. Восток же обернулся своим хищным лицом: кочевники-тюрки, не культурные иранцы соседят с Русью, опустошают ее пределы, вызывают напряжение всех политических сил для обороны. Восток не соблазняет ни культурой, ни государственной организацией. Церковь не устает проповедовать необходимость общей борьбы против «поганых», и здесь ее голоса слушались охотнее, нежели предупреждений против латинян, исходящих от греческой иерархии.

Словом, в Киевской Руси, по сравнению с Западом, мы видим не менее благоприятные условия для развития личной и политической свободы. Ее побег не получили юридического закрепления, подобного западным привилегиям. Слабость юридического развития Руси — факт несомненный. Но в Новгороде имело место и формальное ограничение княжеской власти в форме присяги. Традиция под именем «отчины» и «пошлины» в средние века была лучшей охраной личных прав. Несчастье Руси было в другом, прямо обратном: в недостаточном развитии государственных начал, в отсутствии единства. Едва ли можно говорить об удельной Руси как о едином государстве. Это было династическое и церковное объединение — политически столь слабое, что оно не выдержало исторического испытания. Свободная Русь стала на века рабой и данницей монголов.

Двухвековое татарское иго еще не было концом русской свободы. Свобода погибла лишь после освобождения от татар. Лишь московский царь, как преемник ханов, мог покончить со всеми общественными силами, ограничивающими самовластие. В течение двух и более столетий Северная Русь, разоряемая и унижаемая татарами, продолжала жить своим древним бытом, сохраняя свободу в местном масштабе и, во всяком случае, свободу в своем политическом самосознании. Новгородская демократия занимала территорию большей половины Восточной Руси. В удельных княжествах Церковь и боярство, если не вече, уже замолкшее, разделяли с князем ответственность за судьбу земли. Князь по-прежнему должен был слушать уроки политической морали от епископов и старцев и прислушиваться к голосу старшего боярства. Политический имморализм, результат чужеземного корыстного владычества, не успел развратить всего общества, которое в своей культуре приобретает даже особую духовную окрыленность.

Пятнадцатый век — золотой век русского искусства и русской святости. Даже «Измарагды» и другие сборники этого времени отличаются своей религиозной и нравственной свободой от московских и византийских Домостроев.

Есть одна область средневековой Руси, где влияние татарства ощущается сильнее, — сперва почти точка на карте, потом все расплывающееся пятно, которое за два столетия покрывает всю Восточную Русь. Это Москва, «собирательница» земли русской. Обязанная своим возвышением прежде всего татарофильской и предательской политике своих первых князей, Москва, благодаря ей, обеспечивает мир и безопасность своей территории, привлекает этим рабочее население и переманивает к себе митрополитов. Благословление Церкви, теперь национализирующейся, освящает успехи сомнительной дипломатии. Митрополиты, из русских людей и подданных московского князя, начинают отождествлять свое служение с интересами московской политики. Церковь еще стоит над государством, она ведет государство в лице митрополита Алексия (наш Ришелье), управляя им. Национальное освобождение уже не за горами. Чтобы ускорить его, готовы с легким сердцем жертвовать элементарной справедливостью и завещанными из древности основами христианского общежития. Захваты территорий, вероломные аресты князей-соперников совершаются при поддержке церковных угроз и интердиктов. В самой московской земле вводятся татарские порядки в управлении, суде, сборе дани. Не извне, а изнутри татарская стихия овладевала душой Руси, проникала в плоть и кровь. Это духовное монгольское завоевание шло параллельно с политическим падением Орды. В XV веке тысячи крещеных и некрещеных татар шли на службу к московскому князю, вливаясь в ряды служилых людей, будущего дворянства, заражая его восточными понятиями и степным бытом.

Само собирание уделов совершалось восточными методами, не похожими на одновременный процесс ликвидации западного феодализма. Снимался весь верхний слой населения и уводился в Москву, все местные особенности и традиции — с таким успехом, что в памяти народной уже не сохранилось героических легенд прошлого. Кто из тверичей, рязанцев, нижегородцев в XIX веке помнил имена древних князей, погребенных в местных соборах, слышал об их подвигах, о которых мог бы прочитать на страницах Карамзина? Древние княжества русской земли жили разве в насмешливых и унижительных прозвищах, даваемых друг другу. Малые родины потеряли всякий исторический колорит, который так красит их везде во Франции, Германии и Англии. Русь становится сплошной Моско-вией, однообразной территорией централизованной власти: естественная предпосылка для деспотизма.

Но старая Русь не сдалась Московии без борьбы. Большая часть XVI столетия заполнена шумными спорами и залита кровью побежденных. «Заволжские старцы» и княжее боярство пытались защищать духовную и аристократическую свободу против православного ханства. Русская Церковь раскололась между служителями Царства Божия и строителями Московского царства. Победили осифляне и опричники. Торжество партии Иосифа Волоцкого над учениками Нила Сорского привело к окостенению духовной жизни. Победа опричнины, нового «демократического» служилого класса над родовой знатью означало варваризацию правящего слоя, рост холопского самосознания в его среде и даже усиление эксплуатации трудового населения. Побежденные принадлежали, несомненно, к уходящим, к отвергнутым жизнью слоям. Это была реакция — совести и свободы. В данную эпоху «прогресс» был на стороне рабства. Этого достаточно, чтобы прельстить гегельянцев — Соловьевых и прочих попутчиков истории. Но разве не позволительно остановиться на одном из поворотных моментов русской жизни и спросить себя: что было бы, если бы «ближней раде» Адашевых, Сильвестров и Курбских, опираясь на земский собор, удалось — начать эру русского представительного строя? Этого не случилось. Князь Курбский, этот Герцен XVI столетия, с горстью русских людей, бежавших из московской тюрьмы, спасали в Литве своим пером, своей культурной работой честь русского имени. Народ был не с ними. Народ не поддержал боярства и

возлюбил Грозного. Причины ясны. Они всегда одни и те же, когда народ поддерживает деспотизм против свободы — при Августе и в наши дни: социальная рознь и национальная гордость. Народ имел, конечно, основания тяготиться зависимостью от старых господ — и не думал, что власть новых опричных дворян несет ему крепостное право. И, уж наверное, он был заворожен зрелищем татарских царств, падающих одно за другим перед царем московским. Русь, вчерашняя данница татар, перерождалась в великую восточную державу:

А наш белый царь над царями царь,  
Ему орды все поклонилися.

#### 4

Московское самодержавие, при всей своей видимой цельности, было явлением очень сложного происхождения. Московский государь, как князь Московский, был вотчинником, «хозяином земли русской» (так называли еще Николая II). Но он же был преемником и ханов-завоевателей и императоров византийских. Царями называли на Руси и тех, и других. Это слияние разнородных идей и средств власти создавало деспотизм если не единственный, то редкий в истории. Византийский император в принципе магистрат, добровольно подчиняющийся своим собственным законам. Он, хотя и без всяких оснований, гордился тем, что царствует над свободными, и любил противопоставлять себя тиранам. Московский царь хотел царствовать над рабами и не чувствовал себя связанным законом. Как говорил Грозный, «жаловать есмя своих холопов вольны, а и казнить вольны же». С другой стороны, восточный деспот, не связанный законом, связан традицией, особенно религиозной. В Москве Иван IV и впоследствии Петр показали, как мало традиция ограничивает самовластие московского царя. Церковь, которая больше всего содействовала росту и успехам царской власти, первая за это поплатилась. Митрополиты, назначаемые фактически царем, им же и свергались с величайшей легкостью. Один из них, если не два, были убиты по приказу Грозного. И в чисто церковных делах, как показала Никоновская реформа, воля царя была решающей. Когда он пожелал уничтожить патриаршество и ввести в русской Церкви протестантский синод, и это сошло для него безнаказанно.

Все сословия были прикреплены к государству службой или тяглом. Человек свободной профессии был явлением немислимым в Москве — если не считать разбойников. Древняя Русь знала свободных купцов и ремесленников. Теперь все посадские люди были обязаны государству натуральными повинностями, жили в принудительной организации, перебрасываемые с места на место в зависимости от государственных нужд. Крепостная неволя крестьянства на Руси сделалась повсеместной в то самое время, когда она отмирала на Западе, и не переставала отягощаться до конца XVIII столетия, превратившись в чистое рабство. Весь процесс исторического развития на Руси стал обратным западноевропейскому: это было развитие от свободы к рабству. Рабство диктовалось не капризом властителей, а новым национальным заданием: создания Империи на скудном экономическом базисе. Только крайним и всеобщим напряжением, железной дисциплиной, страшными жертвами могло существовать это нищее, варварское, бесконечно разрастающееся государство. Есть основания думать, что народ в XVI—XVII веках лучше понимал нужды и общее положение государства, чем в XVIII—XIX. Сознательно или бессознательно, он сделал свой выбор между национальным могуществом и свободой. Поэтому он несет ответственность за свою судьбу.

В татарской школе, на московской службе выковался особый тип русского человека — московский тип, исторически самый крепкий и устойчивый из всех сменяющихся образов русского национального лица. Этот тип психологически представляет сплав северного великоросса с кочевым степняком, отлитый в формы осифлянского православия. Что поражает в нем прежде всего, особенно по сравнению с русскими людьми XIX века, это его крепость, выносливость, необычайная сила сопротивления. Без громких военных подвигов, даже без всякого воинского духа — в Москве угасла

киевская поэзия военной доблести, — одним нечеловеческим трудом, выдержкой, более потом, чем кровью, создал москвитянин свою чудовищную Империю. В этом пассивном героизме, неисчерпаемой способности к жертвам была всегда главная сила русского солдата — до последних дней Империи. Мировоззрение русского человека упростилось до крайности; даже по сравнению со средневековьем — москвич примитивен. Он не рассуждает, он принимает на веру несколько догматов, на которых держится его нравственная и общественная жизнь. Но даже в религии есть нечто для него более важное, чем догмат. Обряд, периодическая повторяемость узаконенных жестов, поклонов, словесных формул связывают живую жизнь, не дают ей распознаться в хаос, сообщают ей даже красоту оформленного быта. Ибо московский человек, как русский человек во всех своих перевоплощениях, не лишен эстетики. Только теперь его эстетика тяжелеет. Красота становится благолепием, дебелость — идеалом женской прелести. Христианство с искоренением мистических течений Заволжья превращается все более в религию священной материи: икон, мощей, святой воды, ладана, просвир и куличей. Диететика питания становится в центре религиозной жизни. Это ритуализм, но ритуализм страшно требовательный и морально эффективный. В своем обряде, как еврей в законе, москвич находит опору для жертвенного подвига. Обряд служит для конденсации моральных и социальных энергий.

В Московии моральная сила, как и эстетика, является в аспекте тяжести. Тяжесть сама по себе нейтральна — и эстетически, и этически. Тяжел Толстой, легок Пушкин. Киев был легок, тяжела Москва. Но в ней моральная тяжесть принимает черты антихристианские: беспощадности к падшим и раздавленным, жестокости к ослабевшим и провинившимся. «Москва слезам не верит». В XVII веке неверных жен зарывают в землю, фальшивомонетчикам заливают горло свинцом. В ту пору и на Западе уголовное право достигло пределов бесчеловечности. Но там это было обусловлено антихристианским духом Возрождения; на Руси — бесчеловечием византийско-осифлянского идеала.

Ясно, что в этом мире не могло быть места свободе. Послушание в школе Иосифа было высшей монашеской добродетелью. Отсюда его распространение через Домострой в жизнь мирянского общества. Свобода для москвича — понятие отрицательное: синоним распущенности, «наказанности», безобразия.

Ну а как же «воля», о которой мечтает и поет народ, на которую откликается каждое русское сердце? Слово «свобода» до сих пор кажется переводом французского *liberte*. Но никто не может оспаривать русскости «воли». Тем необходимее отдать себе отчет в различии воли и свободы для русского слуха.

Воля есть прежде всего возможность жить, или пожить, по своей воле, не стесняясь никакими социальными узами, не только цепями. Волю стесняют и равные, стесняет и мир. Воля торжествует или в уходе из общества, на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми. Свобода личная немыслима без уважения к чужой свободе; воля — всегда для себя. Она не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо. Разбойник — это идеал московской воли, как Грозный — идеал царя. Так как воля, подобно анархии, невозможна в культурном общежитии, то русский идеал воли находит себе выражение в культуре пустыни, дикой природы, кочевого быта, цыганщины, вина, разгула, самозабвенной страсти, — разбойничества, бунта и тирании.

Есть одно поразительное явление в Москве XVII века. Народ обожает царя. Нет и намека на политическую оппозицию ему, на стремление участвовать во власти или избавиться от власти царя. И в то же время, начиная от Смуты и кончая царствованием Петра, все столетие живет под шум народных — казацких — стрелецких — бунтов. Восстание Разина потрясло до основания все царство. Эти бунты показывают, что тягота государственного бремени была непосильна: в частности, что крестьянство не примирилось — и никогда не примирялось — с крепостной неволей. Когда становится невмочь, когда «чаша народного горя с краями полна», тогда народ разгибает спину: бьет, грабит, мстит своим притеснителям — пока сердце не отойдет; злоба утихнет, и

вчерашний «вор» сам протягивает руки царским приставам: вяжите меня. Бунт есть необходимый политический катарсис для московского самодержавия, исток застоявшихся, не поддающихся дисциплинированию сил и страстей. Как в лесковском рассказе «Чертогон» суровый патриархальный купец должен раз в году перебеситься, «выгнать черта» в диком разгуле, так московский народ раз в столетие справляет свой праздник «дикой воли», после которой возвращается, покорный, в свою тюрьму. Так было после Болотникова, Разина, Пугачева, Ленина.

Нетрудно видеть, что произошло бы в случае победы Разина или Пугачева. Старое боярство или дворянство было бы истреблено; новая казачья опричнина заняла бы его место; С. М. Соловьев и С. Ф. Платонов назвали бы это вторичной демократизацией правящего класса. Положение крепостного народа ничуть не изменилось бы, как не изменилось бы и положение царя, с переменой династии. Ведь и Романовы вступили на престол при поддержке казаков и тушинцев. Крепостничество вызывалось государственными нуждами, а государственные инстинкты смутно жили в казачестве. Народ мог только переменить царя, но не ограничить его. Больше того, он не пожелал воспользоваться самоуправлением, которое предлагал ему царь, и испытывал как лишнее бремя участие в земских сборах, которые могли бы, при ином отношении народа к государственному делу, сделаться зерном русских представительных учреждений. Нет, государство — дело царское, а не народное. Царю вся полнота власти, а боярам, придет пора, отольются народные слезы.

Если где и теплилась в Москве потребность в свободе, то уж, конечно, в этом самом ненавистном боярстве. Невзирая на погром времен Грозного, эти вольнолюбивые настроения нашли свой выход в попытках конституционных ограничений власти царя (Василия, Владислава) Михаила. Боярство стремилось обеспечить себя от царской опалы и казни без вины — *habeas corpus*. И цари присягали, целовали крест. Не поддержал народ, видевший в царских опалах свою единственную защиту — или мечь, — и первая русская конституция оказалась подлинной пропавшей грамотой.

Москва не просто двухвековой эпизод русской истории — окончившейся с Петром. Для народных масс, оставшихся чуждыми европейской культуре, московский быт затянулся до самого освобождения (1861 г.). Не нужно забывать, что купечество и духовенство жили и в XIX веке этим московским бытом. С другой стороны, в эпоху своего весьма бурного существования Московское царство выработало необычайное единство культуры, отсутствовавшее и в Киеве, и в Петербурге. От царского дворца до последней курной избы Московская Русь жила одним и тем же культурным содержанием, одними идеалами. Различия были только качественными. Та же вера и те же предрассудки, тот же Домострой, те же апокрифы, те же нравы, обычаи, речь и жесты. Нет не только грани между христианством и язычеством (Киев) или между западной и византийской традицией (Петербург), но даже между просвещенной и грубой верой. Вот это единство культуры и сообщает московскому типу его необычайную устойчивость. Для многих он кажется даже символом русскости. Во всяком случае, он пережил не только Петра, но и расцвет русского европеизма; в глубине народных масс он сохранился до самой революции.

## 5

Стало давно трюизмом, что со времени Петра Россия жила в двух культурных этажах. Резкая грань отделяла тонкий верхний слой, живущий западной культурой, от народных масс, оставшихся духовно и социально в Московии. К народу принадлежало не только крепостное крестьянство, но все торгово-промышленное население России, мещане, купцы, и, с известными оговорками, духовенство. В отличие от неизбежных культурных градаций между классами на Западе, как и во всяком дифференцированном обществе, в России различия были качественные, а не количественные. Две разные культуры сожительствовали в России XVIII века. Одна представляла варваризированный пережиток Византии, другая — ученическое усвоение европеизма. Выше классовой розни

между дворянством и крестьянством была стена непонимания между интеллигенцией и народом, не скрытая до самого конца. Некогда могло показаться, что этот дуализм, или даже самое ощущение интеллигенции как особой культурной категории есть неповторимое, чисто русское явление. Теперь, на наших глазах, с европеизацией Индии, Китая, мы видим, что то же явление происходит повсюду на стыке двух древних и мощных культур. Взгляд на Россию с Востока или, что то же самое, глазами западного человека, который видит в ней «Скифию», необходимая предпосылка для понимания Империи. Но, признав это, сейчас же следует сказать: поразительна та легкость, с которой русские скифы усваивали чуждое им просвещение. Усваивали не только пассивно, но и активно-творчески. На Петра немедленно ответили Ломоносовым, на Растрелли — Захаровым, Ворониным; через полтора года после петровского переворота — срок небольшой — блестящим развитием русской науки. Поразительно то, что в искусстве слова, в самом глубоком и интимном из созданий национального гения (впрочем, то же и в музыке), Россия дала всю свою меру лишь в XIX веке. Погибни она как нация еще в эпоху наполеоновских войн, и мир никогда бы не узнал, что он потерял с Россией.

Этот необычайный расцвет русской культуры в новое время оказался возможным лишь благодаря прививке к русскому дичку западной культуры. Но это само по себе показывает, что между Россией и Западом было известное сродство: иначе чуждая стихия искалечила бы и погубила национальную жизнь. Уродств и деформаций было немало. Но из галлицизмов XVIII века вырос Пушкин; из варварства 60-х годов — Толстой, Мусоргский и Ключевский. Значит, за ориентализмом московского типа лежали нетронутыми древние пласты Киево-Новгородской Руси, и в них легко и свободно совершался обмен духовных веществ с христианским Западом. Могло ли быть иначе? Кто из нас, даже сейчас, может равнодушно перелистывать страницы киевской летописи, у кого не проходит холодок по спине от иных строк вечного «Слова о полку Игореве»?

Вместе с культурой, с наукой, с новым бытом Запада приходит и свобода. И при этом в двух формах: в виде фактического раскрепощения быта и в виде политического освободительного движения.

Мы обычно недостаточно ценим ту бытовую свободу, которой русское общество пользовалось уже с Петра и которая позволяла ему долгое время не замечать отсутствия свободы политической. Еще царь Петр сажал своих врагов на кол, еще бироновские палачи вздергивали на дыбу всех заподозренных в антинемецких чувствах, а во дворце, на царских пирах и ассамблеях, устанавливался новый светский тип обхождения, почти уравнивающий вчерашнего холопа с его повелителем. Петербургский двор хотел равняться на Потсдам и Версаль, и вчерашний царь московский, наследник ханов и василевсов, чувствовал себя европейским государем — абсолютным, как большинство государей Запада, но связанным новым кодексом морали и приличий. Мы как-то не отдавали себе отчета в том, почему русский император, который имел полное «божественное» право казнить без суда и вины, жечь или сечь любого из своих подданных, отнять его состояние, его жену, не пользовался этим правом. Да и невозможно себе представить, чтобы он им воспользовался — даже самый деспотичный из Романовых, как Павел или Николай I. Русский народ, вероятно, стерпел бы, как терпел при Иване IV и Петре I, — может быть, по-прежнему находил бы удовольствие в казнях ненавистных господ; были же попытки народной канонизации Павла. Но петербургский император постоянно оглядывался на своих немецких кузенов; он был воспитан в их идеях и традициях. Если народ кланялся ему в ноги или лез целовать его самого, это ему, вероятно, не доставляло никакого удовольствия. Если же он забывался, увлекаясь соблазном самовластия, дворянство напоминало ему о необходимости приличного обращения. Дворянство, возводя на трон одних государей или убивая других, добилось того, что император стал называть себя первым дворянином.

Агенты власти, сами принадлежали к тому же кругу, следовали примеру свыше. Дворянин был свободен по закону от телесных наказаний; по жизненному, неписаному

уставу он был свободен и от личных оскорблений. Его могли сослать в Сибирь, но не могли ударить или обругать. Дворянин развивает в себе чувство личной чести, совершенно отличное от московского понятия родовой чести и восходящее к средневековому рыцарству.

Указ о «вольности дворянства» освободил его от обязательной службы государству. Отныне он может посвящать свои досуги литературе, искусству, науке. Его участие в этих профессиях освобождает и их; они действительно становятся свободными профессиями — и тогда, когда пополняются плебеями, разночинцами, преимущественно из духовного сословия. Из дворянского ядра вырастает русская интеллигенция — до конца связанная с этим сословием своими добродетелями и пороками. Россия (кроме Китая) была единственной страной, в которой дворянство давалось образованием. Окончание средней и даже полусредней школы превращало человека из мужика в барина — то есть в свободного, защищало до известной степени его личность от произвола властей, гарантировало ему вежливое обращение и в участке, и в тюрьме. Городовой отдавал честь студенту, которого мог избивать лишь в особо редкие дни — бунтов. Эта бытовая свобода в России была, конечно, привилегией, как везде в начальную пору свободы. То был остров петербургской России среди московского моря. Но этот остров беспрерывно расширялся, особенно после освобождения крестьян. Его населяли тысячи в XVIII веке, миллионы — в начале XX-го. В сущности, это бытовая свобода была самым реальным и значительным культурным завоеванием Империи, и это завоевание было явным плодом европеизации. Оно совершалось при постоянном и упорном противодействии «темного царства», то есть старой Московской Руси.

Гораздо печальнее была судьба политической свободы. Она виделась столь близкой и осуществимой в XVIII, особенно в начале XIX века. Потом она стала отдаляться и казалась уже химерой, «бессмысленными мечтаниями» при Александре III и даже Николае II. Она пришла слишком поздно, когда авторитет монархии был подорван во всех классах нации, а еще углубившаяся классовая рознь делала необычайно трудной перестройку государства на демократических началах.

Носителем политического либерализма у нас долго, едва ли не до самого 1905 года, было дворянство. Вопреки марксистской схеме, не буржуазия была застрельщицей освобождения: оставшись культурно в допетровской Руси, она была главной опорой реакции; вплоть до появления, в конце XIX века, нового типа европейски образованного (фабриканта и банковского деятеля). Но дворянство если не в массе своей, костной и малокультурной, то в европейски образованных верхушках долгое время одно представляло в России свободолюбие. Более того, в течение всего XVIII века и в начале XIX русские конституционалисты почти исключительно вельможи: члены Верховного тайного совета при Анне, граф Панин при Екатерине, при Александре — Мордвинов, Сперанский, кружок интимных друзей императора. Долгое время Швеция со своей аристократической конституцией вдохновляла русскую знать; потом пришла пора французских и английских политических идей. Если бы вся Европа в XVIII веке жила в форме конституционной монархии, то весьма вероятно, что и Россия заимствовала бы ее вместе с остальными реквизитами культуры. После французской революции это стало затруднительным. Европейский политический ветер подул реакцией, да и русские императоры не имели охоты восходить по эшафот, повторяя европейские жесты.

Но пересадка политических убеждений — конечно, возможная (ср. Турцию и Японию) — гораздо труднее и опаснее, чем заимствование паук и искусств. Это показал неудачный «замысел верховников». Анализ событий 1730 года показывает, во-первых, что большинство столичного дворянства желало ограничения самодержавия; во-вторых, что оно недостаточно этого желало, чтобы преодолеть свою собственную неорганизованность и рознь. В итоге предпочли привилегиям верховников общее равенство бесправия. Таков смысл событий 1730 года, и он весьма пахнет Москвией. Шляхетство того времени, в сущности, разделяет крестьянскую подозрительность к свободе господ. Вместо того

чтобы утвердить ее для немногих (для вельмож) и потом бороться за ее расширение на все сословия, в пределе — на всю нацию, — единственно возможный исторический путь, — предпочитают рабство для всех. Так велика власть Москвы в сознании культурных или полукультурных потомков опричного дворянства.

Весь драматизм российской политической ситуации выражается в следующей формуле: политическая свобода в России может быть только привилегией дворянства и европеизированных слоев (интеллигенции). Народ в ней не нуждается, более того, ее боится, ибо видит в самодержавии лучшую защиту от притеснений господ. Освобождение крестьян само по себе не решало вопроса, ибо миллионы безграмотных, живущих в средневековом быте и сознании граждан не могли строить новую европеизированную Россию. Их политическая воля, будь она только выражена, привела бы к ликвидации Петербурга (школ, больниц, агрономии, фабрик и т. н.) и к возвращению в Москву: то есть теперь уже к превращению России в колонию иностранцев. Сговор монархии с дворянством представлял единственную возможность ограниченной политической свободы. Французская революция с ее политическим отражением 14 декабря 1825 года делала этот сговор невозможным. Оставалось управлять Россией с помощью бюрократии, которая и становится новой силой, по идеям Сперанского, при Николае I.

Со времени декабристов, отчасти еще в их поколении, освободительные идеи усваиваются и развиваются людьми, оттиснутыми или добровольно отошедшими от государственной деятельности. Это совершенно меняет их характер: из практических программ они становятся идеологиями. С 30-х годов они выращиваются в теплицах немецкой философии, потом — естественных и экономических наук. Но источник их неизменно западный; русский либерализм, как и социализм, имеет свои духовные корни в Европе: или в английской политической традиции, или во французской идеологии — теперь уже Франции 40-х годов, — или в марксизме. Русский социализм уже с Герцена может окрашиваться в цвета русской общины или артели, он остается европейским по основам своего мирозерцания. Либерализму эта национальная мимикрия совсем не удалась.

Есть два кажущихся исключения. Славянофильство 40-х годов было, несомненно, движением либеральным и претендовало быть национально-почвенным. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что источник его свободолюбия все в той же Германии, а русское прошлое ему плохо известно; русские учреждения (земский собор, община) идеализированы и имеют мало общего с действительностью. Неудивительно, что, пустив корни в России, славянофильство скоро утратило либеральное содержание. Когда же оно победило и взошло на трон в лице Александра III (с Победоносцевым), оно оказалось реакционным тупиком в явно московском направлении.

В 60-х годах оно, довольно широкое, но политически не оформленное течение (не-нигилисты), носит определенную национальную окраску. Я имею в виду молодую русскую этнографию, сливающуюся с народничеством, историков типа Костомарова, Пыпина, Щапова, Аристов; к ним примыкает кружок национальных композиторов — прежде всего, конечно, Мусоргский — и передвижники в живописи: Репин и Суриков. Одни из них, как Костомаров, правильно ищут русских корней в далеком, замосковском прошлом. К сожалению, они не приобрели большого влияния в русском обществе. Костомаров защищал побежденных (Новгород, феодальную Русь). Русская интеллигенция предпочла усвоить московскую историческую традицию митрополита Макария и Степенной Книги, пропущенную сквозь Гегеля. С необычайной легкостью, без ощущения всего трагизма русской истории она — вслед за Соловьевым и Ключевским — приняла как нечто нормальное (вроде европейского абсолютизма) московско-татарское поглощение Руси, с непонятным оптимизмом ожидая всходов западной свободы на этой почве. Другие из радикалов увлекались стихией бунта, открывая ее в костной тяжести Москвы. С тех пор студенчество не перестает петь разбойничьи песни, и «Дубинушка» делается чуть ли не русским национальным гимном. Но мы видели, как мало общего

разбойная воля имеет со свободой. Мусоргский, Суриков, идеализация казачества, раскола и разинщины несомненно воодушевляли революционную армию. Однако если бы эта идеология направила революцию, она сообщила бы ей национально-черносотенный характер.

60-е годы, сделавшие так много для раскрепощения России, нанесли политическому освободительному движению тяжелый удар. Они направили значительную, и самую энергичную часть его — все революционное движение, — по антилиберальному руслу. Разночинцы, которые начинают вливаться широкой волной в дворянскую интеллигенцию, не находят политическую свободу достаточно привлекательным идеалом. Они желают революции, которая немедленно осуществила бы в России всеобщее равенство — хотя бы ценой уничтожения привилегированных классов (знаменитые 3 миллиона голов). Против дворянского либерализма — даже либерального социализма Герцена — они начинают ожесточенную борьбу. Раннее народничество 60—70-х годов считает даже вредной конституцию в России как укрепляющую позиции буржуазных классов. Многого можно было привести в объяснение этой поразительной абберации: погоню за последним криком западной политической моды, чрезвычайный примитивизм мысли, оторванной от действительности, максимализм, свойственный русской мечтательности. Но есть один, более серьезный и роковой, мотив, уже знакомый нам. Разночинцы стояли ближе к народу, чем либералы. Они знали, что народу свобода не говорит ничего; что его легче поднять против бар, чем против царя. Впрочем, их собственное сердце билось в такт с народом; равенство говорило им больше свободы. Конечно, и здесь сказалось все то же московское наследие.

Потом они поумнели. Уже народовольцы признали борьбу за политическое освобождение. В конце века обе господствующие социалистические партии недвусмысленно ведут борьбу за демократию. Правда, марксизм понимал свою свободу инструментально, как средство в борьбе за диктатуру пролетариата: вскрывая «буржуазную подоплеку» освободительного движения, он унижал и обесмысливал свободу в глазах неискушенных в тактических тонкостях масс. Но здесь уже веял не старый «русский дух», а новый западный душок, или сквозняк, который дул от утопического коммунизма 40-х годов в еще неведомое и негаданное царство фашизма.

И все же пятидесятилетие, протекшее со времени Освобождения, изменило весь облик России. Интеллигенция выросла в десятки, сотни раз. Уж ей навстречу поднималась новая рабоче-крестьянская интеллигенция, которая, случалось) выносила на гребне волны такие яркие имена русской культуры, как Максим Горький и Шалапин. В 1905 году, казалось, исчезла вековая грань между народом и интеллигенцией: народ, утратив веру в царя, доверил интеллигенции водительство в борьбе за свободу. Переход дворянства в лагерь реакции искупался развитием новой либеральной буржуазии. Старое земство, великолепная школа свободной общественности, работало превосходно в ожидании своей демократизации. Профессиональное и кооперативное движение воспитывало общественно-трудовую демократию. Народная школа, уже выработавшая план всеобщего обучения, быстро разлагала московскую формацию поверхностным просвещением. Уже любителям русского фольклора приходилось ездить за остатками его на Печору. Еще пятьдесят лет, и окончательная европеизация России — вплоть до самых глубоких слоев ее — стала бы фактом. Могло ли быть иначе? Ведь «народ» ее был из того же самого этнографического и культурного теста, что и дворянство, с успехом проходившее ту же школу в XVIII веке. Только этих пятидесяти лет России не было дано.

Первое прикосновение московской души к западной культуре почти всегда скидывается нигилизмом; разрушение старых устоев опережает положительные плоды воспитания. Человек, потерявший веру в Бога и царя, утрачивает и все основы личной и социальной этики. О хулиганстве в деревне заговорили с началом столетия. Учитель делается первым объектом дерзких шуток, интеллигенция как класс — объектом ненависти. После крушения революции 1905 года — и слишком поспешного отхода от

народа ведущих слоев русской культуры — намечается новая рознь. В своих, почти пророческих, статьях Блок слушал нарастающий гул народной ненависти, грозившей поглотить блестящую, но хрупкую нашу культуру. Порою тот или иной выходец из новой народной интеллигенции (Карпов в своей книге «Пламя») бросал страстный вызов старой «буржуазной» интеллигенции, с которой он не успел еще слиться, Как слились (или почти слились) Горький или Шалапин. В этой перспективе все новейшее развитие России представляется опасным бегом на скорость: что упредит — освободительная европеизация или московский бунт, который затопит и смоеет молодую свободу волной народного гнева?

Читая Блока, мы чувствуем, что России грозит не революция просто, а революция черносотенная. Здесь, на пороге катастрофы, стоит взглянуть в эту последнюю, антилиберальную реакцию Москвы, которая сама себя назвала по-московски Черной Сотней. В свое время недооценили это политическое образование из-за варварства и дикости ее идеологии и политических средств. В нем собрано было самое дикое и некультурное в старой России, но ведь с ним связано большинство епископата. Его благословлял Иоанн Кронштадтский, и царь Николай II доверял ему больше, чем своим министрам. Наконец, есть основание полагать, что его идеи победили в ходе русской революции и что, пожалуй, оно переживет нас всех.

За православием и самодержавием, то есть за московским символом веры, легко различаются две основные традиции: острый национализм, оборачивающийся ненавистью ко всем инородцам — евреям, полякам, немцам и т.д., и столь же острая ненависть к интеллигентам, в самом широком смысле слова, объединяющем все высшие классы России. Ненависть к западному просвещению сливалась с классовой ненавистью к барину, дворянину, капиталисту, к чиновнику — ко всему средостению между царем и народом. Самый термин «черная сотня» взят из московского словаря, где он означает организацию (гильдию) низового беднейшего торгового класса; для московского уха он должен был звучать как для Токвиля «демократия». Словом, Черная Сотня есть русское издание или первый вариант национал-социализма. При фанатической ненависти, при насильственности действий, принимавших легко характер погрома и бунта, движение таило в себе потенции разинщины. Власть, дворянство вскармливали его — но на свою голову. Губернатор не всегда мог справиться с ним, и пример Илиодора в Царицыне показывает, как легко черносотенный-демагог становится демагогом революционным. Не мешает остановиться на этой неприглядной реакции побежденной Москвы в те роковые годы, когда недаром вспомнили старое пророчество: Петербургу быть пусту.

## 6

Русская революция за 28 лет ее победоносного, хоть и тяжкого бытия пережила огромную эволюцию, проделала немало зигзагов, сменила немало вождей. Но одно в ней осталось неизменным: постоянное, из года в год, умаление и удушение свободы. Казалось, что дальше ленинской тоталитарной диктатуры идти некуда. Но при Ленине меньшевики вели легальную борьбу в Советах существовала свобода политической дискуссии в партии, литература, искусство мало страдали. Об этом так странно вспоминать теперь. Дело не в том, конечно, что Ленин, в отличие от Сталина, был другом свободы. Но для человека, дышавшего воздухом XIX века, хотя и в меньшей степени, чем для русского самодержца, существовали какие-то неписанные границы деспотизма, хотя бы в виде привычек, стеснений, ингибиций. Их приходилось преодолевать шаг за шагом. Так и до сих пор в тоталитарных режимах, введя пытку, еще не дошли — до квалифицированных публичных казней. Иностранцы, посещающие Россию через промежуток нескольких лет, отмечали сгущение неволи в последних, убежищах вольного творчества — в театре, в музыке, в синемаатографе. В то время как русская эмиграция ликовала по поводу национального перерождения большевиков, Россия переживала один из самых страшных этапов своей Голгофы. Миллионы замученных жертв отмечают новый поворот диктаторского руля. На последнем «национальном» этапе — а, казалось бы, он должен

был вдохновлять художника — русская литература дошла до пределов наивной беспомощности и дидактизма; следствие утраты последних остатков свободы.

Второе, и еще более грозное явление. По мере убыли свободы прекращается и борьба за нее. С тех пор как замерли отголоски гражданской войны, свобода исчезла из программы оппозиционных движений — пока эти движения еще существовали. Немало советских людей повидали мы за границей — студентов, военных, эмигрантов новой формации. Почти ни у кого мы не замечаем тоски по свободе, радости дышать ею. Большинство даже болезненно ощущает свободу западного мира как беспорядок, хаос, анархию. Их неприятно удивляет хаос мнений на столбцах прессы: разве истина не одна? Их шокирует свобода рабочих, стачки, легкий темп труда. «У нас мы прогнали миллионы через концлагеря, чтобы научить их работать» — такова реакция советского инженера при знакомстве с беспорядками на американских заводах; а ведь он сам от станка — сын рабочего или крестьянина. В России шенят дисциплину и принуждение и не верят в значение личного почина — не только партия не верит, но и вся огромная ею созданная новая интеллигенция.

Не одна система тоталитарного воспитания ответственна за создание этого антилиберального человека, хотя мы и знаем страшную мощь современного технического аппарата социальной перековки. Тут действовал и другой социально-демографический фактор. Русская революция была еще невиданной в истории мясорубкой, сквозь которую были пропущены десятки миллионов людей. Громадное большинство жертв, как и во французской революции, пало на долю народа. Далеко не вся интеллигенция была истреблена; технически необходимые кадры были отчасти сохранены. Но как ни слепо подчас действовала машина террора, она поражала, бесспорно, прежде всего элементы, представлявшие, хотя бы только морально, сопротивление тоталитарному режиму: либералов, социалистов, людей твердых убеждений или критической мысли, просто независимых людей. Погибла не только старая интеллигенция, в смысле ордена свободолюбия и народолюбия, но и широкая народная интеллигенция, ею порожденная. Говоря точнее, произошел отбор. Народная интеллигенция раскололась — одна влилась в ряды коммунистической партии, другая (эсеро-меньшевистская) истреблена. Интеллигенция просто — большевизмом не соблазнилась. Но те в ее рядах, кто не пожелал погибнуть или покинуть родину, должны были за годы неслыханных унижений убить в себе самое чувство свободы, самую потребность в ней: иначе жизнь была бы просто невыносимой. Они превратились в техников, живущих своим любимым делом, но уже вполне обездушенным. Писателю все равно, о чем писать: его интересует художественное «как», поэтому он может принять любой социальный заказ. Историк получает свои схемы готовыми из каких-то комитетов: ему остается трудолюбиво и компетентно вышивать узоры...

В итоге не будет преувеличением сказать, что вся созданная за двести лет Империи свободолюбивая формация русской интеллигенции исчезла без остатка. И вот тогда-то под нею проступила московская тоталитарная целина. Новый советский человек не столько вылеплен в марксистской школе, сколько вылез на свет Божий из Московского царства, слегка приобретя марксистский лоск. Посмотрите на поколение Октября. Их деды жили в крепостном праве, их отцы пороли самих себя в волостных судах. Сами они ходили 9 января к Зимнему дворцу и перенесли весь комплекс врожденных монархических чувств на новых красных вождей.

Вглядимся в черты советского человека — конечно, того, который строит жизнь, а не смят под ногами, на дне колхозов и фабрик, в черте концлагерей. Он очень крепок, физически и душевно, очень целен и прост, ценит практический опыт и знания. Он предан власти, которая подняла его из грязи и сделала ответственным хозяином над жизнью сограждан. Он очень честолобив и довольно черств к страданиям ближнего — необходимое условие советской карьеры. Но он готов заморить себя за работой, и его высшее честолобие — отдать свою жизнь за коллектив: партию или родину, смотря по

временам. Не узнаем ли мы во всем этом служилого человека XVI века? (не -XVII, когда уже начинается декаданс). Напрашиваются и другие исторические аналогии: служака времен Николая I, но без гуманности христианского и европейского воспитания; сподвижник Петра, но без фанатического западничества, без национального самоотречения. Он ближе к москвичу своим гордым национальным сознанием, его страна единственно православная, единственно социалистическая — первая в мире: третий Рим. Он с презрением смотрит на остальной, то есть западный мир; не знает его, не любит и боится его. И, как встарь, душа его открыта Востоку. Многочисленные «орды», впервые приобщающиеся к цивилизации, вливаются в ряды русского культурного слоя, вторично ориентализируя его.

Может показаться странным говорить о московском типе в применении к динамизму современной России. Да, это Москва, пришедшая в движение, с ее тяжестью, но без ее косности. Однако это движение идет по линии внешнего строительства, преимущественно технического. Ни сердце, ни мысль не взволнованы глубоко; нет и в помине того, что мы, русские, называем странничеством, а французы — *inquietude*. За внешним бурным (почти всегда как бы военным) движением — внутренний невозмутимый покой.

Мы здесь со страстным любопытством - следим за эволюцией советского человека сквозь его условную, заказную литературу. Мы с радостью, граничащей с умилением, наблюдали, как на маске железного большевистского робота 20-х годов постепенно проступают черты человеческого лица. Может быть — и это даже вероятнее, — что то была скорее эволюция цензуры или литературной политики партии, чем живой жизни. Все-таки советский человек, хотя бы с наганом в руках, был человек. И ему свойственны были, вероятно и тогда, когда они считались запретными. и дружба, и любовь к женщине, и даже любовь к родине. Но в тоталитарном строе государство воспитывает людей, их чувства, их мысли, самые интимные. И мы приветствуем официальное воскрешение человечности, мы радуемся, узнавая в советском герое черты любимого русского лица.

Эта эволюция далеко не закончена и происходит с частыми и болезненными перебоями. Еще слово «злой», как в первые годы Чека, употребляется в положительном смысле; иной раз злою называется даже русская земля. Война принесла с собой, естественно, аналогию мести и жестокости. Но та же война разбудила ключи дремавшей нежности -к поруганной родине, к женщине, жене и матери солдата. Нет пока никаких признаков пробуждения религиозного чувства. Новая религиозная политика (НРП) остается в пределах чистой политики. Но и это со временем придет. если религия действительно составляет неотъемлемый атрибут человека; когда-нибудь метафизический голод проснется и в этом примитивном существе, живущем пока культом машины и маленького личного счастья.

Завершится ли эта внутренняя эволюция возрождением свободы, это другой вопрос, на который опыт истории, думается, не принадлежит к инстинктивным или всеобщим элементам человеческого общежития. Лишь христианский Запад выработал в своем трагическом средневековье этот идеал и осуществил его в последние столетия. Только в общении с Западом Россия времен Империи заразилась этим идеалом и стала перестраивать свою жизнь в согласии с ним. Отсюда как будто следует, что если тоталитарный труп может быть воскрешен к свободе, то живой воды придется опять искать на Западе.

Многие думают, что на этот раз России незачем идти так далеко: она уже накопила в своей литературе такие ценности свободолюбия, которые могут зажечь священный огонь в новых поколениях. Думать так — значит страшно переоценивать значение книги в развитии души. Мы почерпаем в книгах лишь то, чего ищет наше сознательное или бессознательное «я». Вспомним, что Шиллер остается классиком в школах Германии, что Евангелие читалось в самые мрачные и жестокие века христианской истории. Комментаторы или дух времени всегда приходят на помощь, чтобы обезвредить духовные яды. В России давно уже читают с увлечением классиков, но там, по-видимому, не

приходит в голову перенести в современность сатиру Гоголя или Щедрина. Да и только ли свободолюбие учат русские классики? Гоголь и Достоевский были апологетами самодержавия, Толстой — анархии, Пушкин примирился с монархией Николая. Как читают классиков в Советской России? В дни лермонтовского юбилея все писали о поэте «Валерика» и «Родины» как о русском патриоте, дравшемся на Кавказе за российское великодержавие. В сущности, только Герцен из всей плеяды XIX века может учить свободе. Но Герцен, кажется, не в особом почете у советского читателя.

Если же солнце свободы, в противоположность астрономическому светилу, восходит с Запада, то все мы должны серьезно задуматься о путях и возможностях его проникновения в Россию. Одно из необходимых условий — личное общение, — сейчас чрезвычайно облегчено войной. Война в освобождении России — факт двусторонний. Ее победоносный конец, бесспорно, укрепляет режим, доказывая, путем проверки на полях битв, его военное превосходство перед слабостью демократий. Этот аргумент действует даже на иных либералов из русской эмиграции. Но, с другой стороны, война открывает для миллионов русских воинов возможности личного общения с Западом. Для того, чтобы демократические идеи Запада могли импонировать москвичам, необходимы два условия — в сущности, сводящиеся к одному. Запад должен найти в своих идеалах опору для более удачного, более человеческого решения социального вопроса, который до сих пор, худо ли, хорошо ли, решала лишь диктатура. Во-вторых, московский человек должен встретить в своем товарище, воине-демократе, такую же силу и веру в идеал свободы, какую он сам переживает, или переживал, в идеалкоммунизма. Но это означает для демократа, отрицательно, нетерпимость ко всякой тирании, каким бы флагом она ни прикрывалась. Наши предки, общаясь с иностранцами, должны были краснеть за свое самодержавие и свое крепостное право. Если бы они встретили повсеместно такое же раболопное отношение к русскому царю, какое проявляет к Сталину Европа и Америка, им не пришлось бы в голову задуматься над недостатками в своем доме. Лъстецы Сталина и Советской России сейчас враги русской свободы. Или иначе: лишь борясь за свободу на всех мировых фронтах, внешних и внутренних, без всяких «дискриминаций» и предательства, можно способствовать возможному, но сколь еще далекому освобождению России.